

ВРЕМЯ ШМБТ 41 1979

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- НОВЫЕ ЭМИГРАНТЫ В АМЕРИКЕ
- БРЕМЯ СВОБОДЫ
- ОШИБКА МИХАИЛА ЗОЩЕНКО
- ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
- Э. НЕИЗВЕСТНЫЙ О ХРУЩЕВЕ
- ПРАВОЗАЩИТНИК ИЗ МОСКВЫ



Ум-Эль-Банин
Последний поединок
Ивана Бунина

ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пятый год издания

Выходит один раз в месяц

41
1979 МАЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1979

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Зав.редакцией Марина МАЗИНА

Американское отделение журнала "Время и мы".

Адрес отделения: 809 West, 177 Str., Apt. 4E N. Y.
10033 T. (212) 781-05-09

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. 1204) 474 9773
Франция	Ева Иоффе 43 rue Richard Lenoir, 75011 Paris t. 379-32-87
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koaln, 50 West Germany

OCR и вычитка - Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Ум-эль-БАНИН

Последний поединок Ивана Бунина 5

Аркадий ЛЬВОВ

Площадь Колумба 53

ПОЭЗИЯ

Дмитрий БОБЫШЕВ

Зияния 67

Михаил КРЕПС

Пружинные люди 76

Анри ВОЛОХОНСКИЙ

Взоры Нежд 85

ПУБЛИЦИСТИКА, ПОЛИТИКА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

Бремя свободы 90

Михаил АКСЕНОВ МЕЕРСОН

Еврейский Исход в российской перспективе 96

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

Несостоявшаяся революция 109

КРИТИКА

МАРРАН

Миражи "Тяжелого песка". 119

Владимир СОЛОВЬЕВ

Ошибка Михаила Зощенко. 130

Наталья АГРОСКИН

Женщина у алтаря искусств. 148

РЕЦЕНЗИИ, МНЕНИЯ, ОТЗЫВЫ

"Время и мы" в зеркале мировой печати 163

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ

Мой диалог с Хрущевым 170

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
Фантастический реализм Марка Клионского. 202

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Сай ФРУМКИН
Правозащитник из Москвы 206
Валерий ВАЙНБЕРГ
История одного поджога 212
Коротко об авторах 220

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ПРОЗА _____



Ум-Эль-Банѳн

ПОСЛЕДНИЙ ПОЕДИНОК ИВАНА БУНИНА

Перевод с французского Е. Зворыкиной.

Константин Симонов встретил нас у входа в театр. Если его жена была образцом тонкости и изысканности, то про него этого сказать было нельзя: высокий, плечистый, он имел простоватый вид, что, впрочем, было обманчивой видимостью. На самом деле он поэт, умеющий видеть и чувствовать, наблюдать и замечать. Бунин подозревал — и это было верхом добродетельности, — что он выходец из дворян. Его "подозрения" зиждились на каких-то сведениях, которые, наверно, не понравились бы Симонову, а также на интуиции. Своею выправкой этот советский писатель мог соперничать с гвардейским офицером. Но он отличался от этой исчезнувшей когорты лиц небольшим налетом того, что называется "Made in USA", — он прожил некоторое время в Америке и его прическа, куртка, туфли, галстук — все носило американский отпечаток.

Он был удивительно хорошо воспитан: почтительно улыбнулся Бунину, нежно улыбнулся жене, а передо мной церем-

Copyright *Ум-эль-Банѳн*

Повесть публикуется в сокращенном виде.

Окончание. Начало см. в 40 номере журнала.

монно склонился, однако руку не поцеловал, — сходство с гвардейским офицером так далеко не простиралось.

Зал Дебюсси был набит, как метро в часы пик, но три кресла в первом ряду ждали нас, избранных судьбы. Как и в машине, Бунин сел между нами. Наклонившись ко мне, он спросил: "Признайтесь, что мадам Симонова хороша?" Пришлось признаться.

Теперь, когда я могла рассмотреть ее получше, я обнаружила, что она принадлежит к типу, который я люблю больше всего. Лицо тонкое, волосы белокурые, стройность, мечтательность, мягкость — все это мне нравилось. Эта женщина была хороша в анфас, в профиль, в три четверти, — она вызывала восхищение. Рядом с ней я чувствовала себя почти безобразной: нос у меня длинноват, шея коротковата, глаза сидят слишком близко, губы слишком тонкие и еще куча недостатков, малоинтересных для других, но они меня всегда огорчали, когда я смотрелась в зеркало.

Симонов уселся на эстраде за стол, на нем лежала кипа листочков, показавшаяся мне слишком толстой. Неужели он будет читать все это? Сначала он прочел два рассказа о войне, они показались мне длинноватыми и многословными, хотя, может быть, это и не так, я плохо воспринимаю на слух. Вскоре я уже не различала ничего, кроме глуховатого бормотания, и хотя из приличия я смотрела на Симонова, сама же я в мечтах была далеко, в том мире мыслей, где скучно не бывает. Когда он начал читать стихи, я стала слушать внимательнее. В одном из них он вспоминает, как неожиданно получил отпуск во время войны и попал домой среди ночи:

**Какой была ты сонной-сонной,
Вскочив с кровати босиком,
К моей шинели пропыленной
Как прижималась ты лицом!**

Его жена, казалось, была взволнована, она прикрыла глаза белой, совсем не пролетарской ручкой; я вспомнила, что она уже потеряла мужа-летчика, погибшего во время войны. Кого — думала я — видит она сейчас: ночное посещение этого, или самолет в огне — того? Война и любовь, трассы пуль и падающих звезд, смерть людей и вечное возрождение солнца...

Образы сменялись — четверть часа, полчаса, час. Я тихонько чахла от них. Когда возникла пауза между стихами, я шепнула Бунину: "Я по горло сыта стихами". Его лицо просияло, как всегда, когда наши чувства совпадали, и он прошептал мне в ответ: "Я только что хотел вам это сказать".

И тут произошло удивительное: Симонов сложил листочки, положил их на стол и произнес: "Ну вот, я кончил". Как будто он расслышал наше невежливое перешептывание. Мне казалось, что меня поймали на бестактности. Позже, когда мы обсуждали этот эпизод, Бунин меня уверял, что Симонов, наделенный высшей чуткостью, уловил, что мы начали скучать.

Аплодировали ему очень горячо и долго.

— Признайтесь, — кричал мне Бунин на ухо, перекрывая взрывы приветствий, — признайтесь, что мы умеем быть великодушными! Мы, бедные эмигранты, не таим злобы и рады успехам наших бывших врагов. Когда я вспоминаю, с каким увлечением они нас расстреливали когда-то!..

— Тогда как вы — невинные агнцы — худого слова не сказали ни об одном из них! — кричала я ему на ухо в ответ.

— А вы не можете хоть раз согласиться со мной! — уже рычал он мне, потому что аплодисменты возобновились с новой силой.

— Ненавижу несправедливость! — рычала я в ответ. Однако он был прав: сидящие в зале чествовали Симонова, представителя режима, который унижал их. Они, казалось, забыли прошлое своих семей: они радовались, они поздравляли друг друга, но в глубине души оставались непримиримыми. Лишь ничтожное меньшинство завязало снова какие-то связи с Советским Союзом.

Как и вечер Бунина, этот тоже продолжался в кафе Терн. Только там я увидела Веру Николаевну, которая, оказывается, скромно сидела в заднем ряду. Она дружелюбно помахала мне рукой.

— Как, — обалдело спросила я Бунина, — ваша жена была в зале, а вы мне ничего не сказали? И вы бросили ее, позволили ей самой добираться, а потом сидеть одной в уголке?

Она согласилась на то, от чего отказалась я.

— Она сама потребовала, — рассеянно объяснил мне Бунин. Она не хотела нас стеснять. К тому же с ней был ее друг.

Нас стеснять? В чем она могла нас стеснить, эта святая женщина? Но не могла же я устраивать Бунину сцену за то, как он обращается со своей законной женой... И я умолкла, не зная, что сказать.

Симонова села около меня. Она рассказывала мне про кинофестиваль в Каннах, где она была кинозвездой. Никогда в жизни она не видела такой противной публики — сплошные нувориши.

— Туда понаехали отовсюду: из Америки, из Англии, англичан было особенно много, они разгуливали с таким высокомерным видом, как будто это они выиграли войну.

Мне показалось, что я ослышалась. Но, нет, я прекрасно расслышала. И я представила себе, как англичане обсуждают фестиваль: "В Канны в этом году лучше было не ездить. Там разгуливали советские с таким видом, будто это они выиграли войну".

Покончив с фестивалем, она перешла к самому для меня интересному: к моей особе. Расспрашивала меня о моем прошлом, о настоящем, о проектах и литературной деятельности; с огорченным видом пожалела о моем безразличии к своей стране, об отсутствии у меня патриотизма.

— Какого патриотизма?— спросила я, — я же совсем не русская.

Она вскипела:

— Но жители Кавказа — грузины, армяне, азербайджанцы — тоже советские граждане. Мы все составляем одно целое, несмотря на наши национальные особенности. Мы все патриоты Советского Союза.

— Я уехала из Союза такой молодой, что прошлое совсем стерлось из моей памяти. К тому же, — прибавила я, мило улыбаясь, — Советский Союз не очень страдает без меня, я полагаю.

— Но знаете ли вы, что утратили вы? Наша страна так прекрасна, она самая красивая в мире. Писатели у нас так счастливы! "Если они ведут себя, как паиньки", хотелось мне прибавить.

— Их берегут, их уважают; им предоставлены дачи, они могут путешествовать, для них устроен бар в Москве, или клуб, если хотите, каких нигде больше нет. — Словом, все было неслыханно красиво, приятно, огромно в Советском Союзе: университеты, любовь Сталина к народу, забота о детях, искусство и нравственность, наука и литература. Священный огонь горел в ее васильковых глазах, когда она кончила эту тираду рискованным, на мой взгляд, утверждением:

— Все русские — душки.

Она сказала "душки". Она считала, что все русские милые, прелестные люди. Для времен Сталина это звучало, мягко говоря, преувеличением.

Саму Симонову я находила "душкой" и до сих пор вспоминаю ее с удовольствием, хотя она и забыла прислать бухарскую шапку, которую мне обещала, потому что она будто бы "подойдет" к моему восточному типу лица.

Когда его жена, наконец, замолчала, Симонов подхватил разговор. Несмотря на то, что он был поэтом, тему он выбрал прозаическую — расхваливал русскую еду: вина, рыбу, икру...

— Впрочем, Иван Алексеевич, вы сможете судить сами, я заказал для вас кое-какие продукты, их сегодня ночью доставят самолетом, завтра принесут.

— В таком случае, приглашаю вас ужинать завтра вечером, мы вместе оценим советские продукты.

Поговорили еще о том, о сем, о литературе, о поэзии, обо всем — кроме политики. Мы разговаривали, как в доме, где покойник, и все стараются забыть, что труп в соседней комнате.

Близилась ночь, гарсоны начали убирать кафе, вид у них был унылый, и стало стыдно сидеть так поздно: пора было уходить.

— Машина ждет, мы вас подвезем, — сказал Симонов. Оказывается, все происходило, как у собак-капиталистов: пока господа развлекались, несчастный шофер томился в машине. Конечно, его называют "товарищ шофер", но все-таки — хорошо ли это?

Симонов широким жестом заплатил за всех; Бунин парил выше этих мизерных соображений. Он поднялся.

— Пойдемте, Джанум, — сказал он, беря меня под руку.

— Нет, вас и так слишком много. Мне совсем близко, я дойду пешком.

— Мы проводим вас, если позволите, — в один голос сказали два господина, которые до сих пор были статистами и сидели в углу.

Лицо Бунина стало мрачным. Он хотел что-то сказать, но смешался, запнулся, потом произнес тихо: "Идите со мной". Я вырвала руку, которую он так властно держал, и упрямо повторила: "Нет, слышите, — нет..." Хозяйская манера обращения меня взбесила. Теперь мы были взбешены оба.

На улице Вера Николаевна подошла ко мне и сказала доверительно:

— Вы ведь знаете, он такой ревнивый.

"А ну его к черту" — подумала я. Но чтобы не огорчать эту женщину, которая мне нравилась все больше и больше, сказала:

— Ничего, это у него пройдет, он ведь большой ребенок.

Радостным кивком головы она подтвердила мои слова, и ее большие прозрачные глаза выразили нежность:

— Да, да большой ребенок.

Тем временем большой ребенок подошел к машине, возле которой стояли супруги Симоновы, даже спина его выражала ярость. Роскошный лимузин дядюшки Джо бесшумно удался.

* * *

Вероятно, Бунин считал мое поведение верхом неблагодарности. Он познакомил меня с Симоновыми, обращался со мной, как с первой дамой, тогда как рядом была другая, несравненно моложе и красивее меня. Все видели и поняли, что он интересуется мною, лучами своей славы он озарил такую серую посредственность... А я пренебрегла им, бросила его, ис-

чезла в ночи с двумя бездельниками — так он называл позже молодых людей, которые взялись меня проводить.

Я ждала письма с упреками, но ничего не получила.

* * *

Дверь мне открыла Вера Николаевна. Волосы ее были еще меньше причесаны, чем обычно, и висели белыми прядями. Она порывисто схватила меня за руки и воскликнула:

— Как я рада принять вас у себя. Знаете, вчера он был сердит, но, думаю, уже все забыл. Он самый незлопамятный человек на свете. — И она прибавила просительно: — Будьте с ним поласковее. Он заслуживает этого.

Заслуживает. Чем же он заслужил? — хотелось мне спросить у этой изумительной жены. Она вызывала мое восхищение: добротой души, преданностью человеку, который, на мой взгляд, совсем этого не заслуживал, полным отсутствием ревности. Я сравнивала себя с нею и чувствовала, как меня душит стыд за мой мелочный характер, за неспособность прощать другим недостатки и великодушно любить людей. В непреодолимом порыве я воскликнула:

— Вера Николаевна, вы замечательная женщина!

— Ах, что вы такое говорите! — воскликнула она испуганно. — Нет, нет, уверяю вас, я... Недокончив фразу, волнуясь и торопясь, она повела меня в соседнюю комнату, где мэтр уже сидел в обществе Симоновых и Тэффи. Как всегда прямой, элегантный, одетый с иголочки, в этот вечер он казался только что выстиранным, накрахмаленным, выглаженным, обновленным, — чистеньким ребенком семидесяти шести лет, пахнущим лавандой. Тропическая жара превратила Париж в раскаленную печь, потому на Бунине была поверх рубашки легкая белая куртка. Все это, как и волосы, сверкало белизной — он был великолепен. И ему, как только что его жене, я сказала с восторгом:

— Иван Алексеевич, вы сегодня прекрасны!

Если он и дулся, то перестал. Окинул меня взглядом похитрителя и сжал мне руку так, что кости захрустели. Потом

взял меня под руку и повел к столу, где посадил от себя справа, а Симонову — слева. Тэффи, при всем уважении к ее годам, он посадил на самое скромное место, под тем предлогом, что она — старая приятельница. Она легко простила ему отсутствие почтения и приготовилась наблюдать своим острым взглядом за старым младенцем, чье поведение, как она предвидела, не будет безупречным.

Как известно каждому, воспитанный человек должен ухаживать за обеими соседками. Бунин как будто забыл, что слева от него сидит почетная гостья, к тому же очаровательная женщина, заслуживающая внимания. Он занимался только мною.

— Весь Бунин тут, — говорила мне позже Тэффи. — Главное на свете — его удовольствие. Мы все его раздражали, потому что ему хотелось только одного — остаться с вами наедине. Вот он и наплевал на остальных.

Может быть, она преувеличивала, но не очень.

К счастью, Симоновы были воспитаны лучше, и если даже и подумали что-нибудь, то не показали. Симонова, правда, несколько раз повторила, что ревнует его ко мне, но в шутовском тоне. Она обладала юмором и умела себя вести.

Стол был накрыт на русский манер: "Made in Russia". Он ломился от закусок и водки. Колбасы, копченая севрюга, свежая осетрина, анчоусы, селедки, кетовая и паюсная икра, маринованные грибы, пирожки с капустой и с мясом, пышная кулебяка и... Заботливый Симонов заказал даже хлеб и масло, не говоря уж о главном напитке, таком же обязательном на русском столе, как на французской свадьбе — шампанское, то есть о водке. В этот вечер Бунин открыл во мне неведомую ему добродетель: я лакала водку, как хороший гвардеец. За это он простил мне много пороков: западничество, цинизм, злобность и даже неуважение к его писательству.

— Вы молодчина, — сказал он мне почтительно.

Социалистическая водка имела приятный вкус, но была не очень крепкой. Симонов уверял, что в ней сорок градусов, но Бунин — тонкий знаток — проверял ее спичкой.

— При царизме, — гудел он, — водка за минуту опрокидыва-

ла полк гусар. Неудивительно, что она выдыхается, раз ее производят стахановцы. Этот Стаханов вредный тип, он появился, чтобы мешать людям мирно жить. Вы заменили опиум религии опиумом труда. Вы что думаете, чем больше люди работают, тем они счастливее?

Он схватил бутылку, долго изучал этикетку, как будто хотел вычитать из нее судьбу русского народа, с укором покачал головой и налил соседям и себе.

Я выпила уже рюмок десять и была в состоянии счастливой эйфории, когда кажется, что посреди ночи светит солнце. И я почувствовала, что влюблена — да, влюблена в этого старого лиса, одетого во все белое, у которого вкус был такой хороший, или вернее, такой плохой, что он предпочел меня этой красотке слева... В ней все было хорошо, кроме шовинизма. Муж меньше демонстрировал его, она же то и дело твердила "у вас здесь" с презрительной гримасой, и всякий раз это было началом поношения Франции. К моему удивлению, и Бунин и Тэффи, обычно такие суровые в отношении Франции, сейчас защищали ее изо всех сил, по принципу "сам ругаю, а другим не дам". В глубине души они, видимо, любили страну своего изгнания. Или им хотелось показать этим красным миссионерам, что марксистский рай уступает капиталистическому аду? Они настойчиво расхваливали климат свободы и терпимости здешних нравов, которыми мы наслаждаемся. Они всячески старались смутить граждан страны, в которой Сталин управлял не только внешней политикой, армией, экономикой, партией, но и литературой, а главное — совестью. Накануне в кафе все были трезвы и сдержанны, теперь водка развязала языки и склонила всех к крайностям.

Когда Симонова заявила, что французские вина не идут в сравнение с советскими, в клане эмигрантов раздался крик протеста.

Нельзя же серьезно утверждать, что красные вина (Бунин сделал ударение на прилагательном) по качеству превосходят французские!

В поддержку жены выступил Симонов:

Вы даже не представляете себе, какого прогресса мы дос-

тигли в области сельского хозяйства и особенно виноделия.

Бунин толкнул меня под столом коленкой. Его глаза хитро блеснули, он покачал головой и спросил издевательским тоном:

— А что, солнце тоже встало на стахановскую вахту и греет жарче, чем при царизме?

Он окончательно распустился: "Передайте мне этого буржуазного предрассудка" — говорил он, показывая на икру. Или: "Соцколбаса, пожалуй, не хуже капколбасы". Водку он называл "стахановка" и сочинял стишки, где водка рифмовалась с голодовкой, чертовкой и забастовкой. Симонов вежливо улыбался.

Как и накануне, его красotka была одета с парижской элегантностью. Ее выдавали только драгоценности. Не знаю, заслуживали ли они этого названия? Ни одна парижанка таких не надела бы: кольцо с фальшивым бриллиантом или дрянную брошь с имитацией рубинов.

Я редко бывала на столь оживленных обедах: брызжущие остроумием Бунин и Тэффи — оба сверкали словесными фейерверками, вели шуточную перепалку, пикировались колкостями. Подстегнутый водкой и одержимый, как всегда, Бунин превзошел себя. Я не переставала восхищаться им и совершенно влюбилась в него, или это мне только казалось? Во всяком случае я переживала звездные часы, на которые до сих пор гляжу издали, как на вершину среди бледного чередования будней.

Бунин помолодел на двадцать лет, он сиял; все мы испытывали подъем, громко говорили и хохотали. Только хозяйка дома скромно и внимательно обслуживала нас, все замечала или молча ела. Ничто в ней не выдавало желания обратить на себя хоть долю внимания, которым был окружен ее великий муж. Это не было позой; нет, скромность Веры Николаевны тем и была трогательна, что была совершенно естественной. Каждый раз, встречаясь со мной взглядом, она улыбалась и, как бы в знак одобрения, кивала головой. За что она меня одобряла? Думаю, за то, как я вела себя с ее мужем: ей важно было только одно: чтоб он был счастлив.

Еще большую симпатию я испытала к ней, когда она тайком положила мне в сумочку плитку шоколада. Я заметила, но она приложила палец к губам.

Вечер кончился слишком быстро, как все хорошее в жизни. Лимузин дядюшки Джо привез меня домой. Через два дня Симоновы уезжали в Москву, они тепло попрощались со мной. Бунин и Тэффи виделись с ними еще раз (по отдельности).

После этого Бунин рассказал мне, как мадам Симонова приправила этот завтрак перцем — по моему адресу. Она будто бы нашла, что я слишком шумная, претенциозная, вообще неприятная, в особенности же возмутилась тем, как я ужасно обращаюсь с ним, Великим Писателем. Будто бы она воскликнула с возмущением:

— Как она смеет так вести себя с вами?

Она якобы очень настаивала на том, что я не молода: увядшая кожа, волосы крашенные, шея морщинистая... Бунин с явным удовольствием выкладывал мне все это; лицо его дышало вдохновением, он не мог остановиться:

— Она никак не могла понять, зачем я ухаживаю за такой немолодой дамой, при том, что она даже не в состоянии меня оценить.

— Иначе говоря, она находит, что вы для меня слишком молоды?

— Нет, она считает, что вы слишком стары для меня.

— Ну, это одно и то же. А вы уточнили нашу разницу в годах?

— Только не начинайте опять пересчитывать наши года.

— Мне это необходимо для самозащиты. Ну, а вы? Вы хоть меня защищали? Вы же уверяете, что любите меня?

— Конечно, но тщетно, она так ненавидит вас, что не хотела слушать. По-моему, ее сжигает ревность.

— Этого еще не хватало! Она что же, влюблена в неотразимого Ивана Бунина?

— На этом я не настаиваю, может быть, и не влюблена в грубом смысле слова. Но она меня почитает и хотела окру-

жить вниманием. А у нас на вечеру я интересовался только вами; конечно, это было неправильно.

Я не слушала его больше и перебила:

— Вот увидите, я напишу философский рассказ о зрелой даме, которая любит пожилого господина, который любит молодую даму. Молодая ненавидит зрелую и шепчет о ней гадости на ухо пожилому. Тот спешит передать их зрелой. А та чувствует себя польщенной, вызвав ревность молодой, сама молодеет, хорошеет и заводит роман с молодым. Она покидает пожилого — и он наказан за свои сплетни.

Бунин помрачнел, я почернела. Меня огорчили слова Симоновой, которая так понравилась мне и, казалось, отвечала мне тем же. Конечно, она хорошая актриса и могла разыграть любую подходящую к случаю роль. Шокировало меня и удовольствие, которое как будто испытывал Бунин, рассказывая мне все эти гадости. Мне даже показалось, что он выдумал это все, чтобы меня наказать. Но слишком уж это было бы коварно с его стороны! Я забыла, что если человека недостаточно любят, он способен на любую пакость.

Проглотив обиду, я спросила Бунина, как насчет поездки в Москву? Принял ли он решение?

— Ну, — сказал он с важным видом, — этот вопрос куда сложнее, чем вы себе представляете. Чем больше я об этом думаю, тем труднее мне решить: отказаться от своих убеждений, подавить в себе свободу мысли, пожертвовать свободой — все это только ради материальных благ...

— Ваши убеждения не мешают вам флиртовать с Симоновыми, — а ведь они — рупор режима, который вы считали порождением ада. Где же ваши принципы?

— Вы все обвиняете; вам нравится выискивать мои недостатки. Будьте снисходительнее хоть разик: я человек, а значит, слаб. Да, будь я сильный, я не сидел бы здесь... Мне было любопытно разглядеть этих советских интеллигентов. Признаюсь, они мне понравились. Но отсюда еще далеко до того, чтобы сотрудничать со страной, где преследуют церковь и топчут ценности, которые мне дороги. Душу я не продаю ни черту, ни большевикам.

Вообразив этот фаустовский сюжет, он начал поспешно креститься мелким крестом. Однако лицо его не только не выражало христианской кротости, но дышало откровенным раздражением против меня, которая рта раскрыть не может, не обрушив на него град осуждений.

— Если бы я согласился ехать туда, они бы воспользовались моим именем, чтобы завлечь других... Я бы служил им вывеской, меня бы заставили говорить то, чего я не думаю...

— Ну, — сказала я, — теперь я знаю, как вас зовут: Нарцисс Алексеевич.

Я вонзила ему в сердце змеиное жало. И подумать только, совсем недавно я была так в него влюблена! Как быстро все меняется...

Бунин ушел уязвленный, торжественно-прямой, как тополь. Он сказал мне не обычное "до свидания" по-русски, а по-французски "adieu", и я уловила этот оттенок. У меня самой было только одно сильное желание: никогда не видеть его больше.

* * *

Мое и без того сильное возмущение Буниным возросло вдвое, когда Тэффи, которой я рассказала, что мне Бунин передал со слов Симоновой, прямо-таки подскочила:

— Послушайте, дорогая, он же все это выдумал от начала до конца. Симонова говорила мне о вас с большой теплотой, она находит, что вы... (тут следовали комплименты) ...К тому же она слишком тонка, чтобы поносить вас перед Буниным, который так явно за вами ухаживал. Он выдумал это все, чтобы показать вам, что, несмотря на ваш возраст и прочие недостатки, вам неслыханно повезло, что вы ему нравитесь — а вы не оценили своего счастья.

Ах, старая злая лиса! Никогда больше не позволю ему, не напишу ни слова, пусть хоть помирает.

* * *

Шли дни, я ничего не слышала о Бунине. Но 18 августа я получила конверт, надписанный его почерком — и испытала одновременно удовольствие и раздражение. Что в нем может содержаться?

В клетчатый листок бумаги, на какой он всегда писал мне письма, была вложена его фотография в три четверти: выражение лица одновременно мечтательное и надменное, на лоб надвинута шляпа. Внизу он начертил вопрос: "Чего стоит рядом с этим ваш писатель?" На обратной стороне стояло: "Разрешите мне, Джанум, сказать Вам словами Карла Ивановича из "Детства" Толстого:

**Помните близко,
Помните далеко...
Еще отныне и до всегда
Помните до моего гроба
Как верен я любить имею!**

Ив. Бунин 18 августа 1946

А письмо — вот оно:

Воскресенье

Мой дорогой молодой собрат по перу, позвольте Вам посоветовать кончить Ваш маленький рассказ маленьким письмом его к ней — приблизительно в таком роде:

"Ужасно грустно мне нынче весь день, и опять все еще хочется сказать Вам это — просто так, без всякой цели, без малейшего желания тронуть Вас, потому что уж мне ли не знать, что все мои подобные слова отскакивают от Вас, как от стены горох: много в Вас милого, даже прелестного, но ведь Вы, конечно, стена в некоторых отношениях — для меня, по крайней мере, в чем я уж совсем убедился еще раз, потому что всякая другая на Вашем месте при наличии у нее хоть небольшого живого любовного чувства сказала бы в конце концов: "Довольно, бросим все эти глупости, недоразумения, я по-прежнему хочу Вас видеть и, как только буду свободна, позову Вас...", а Вы даже из приличия не сказали



Это передэ эфиром Вашъ ибнечкй тсафел

этого. На этом и кончаю эту записочку — и повторяю: усердно прошу не думать, что она преследует какую-нибудь корыстную цель — я хочу только поставить точки над *i* ..."

Вот как бы я кончил Ваш маленький рассказ. Желаю Вам всех благ и целую Вас в Ваши смоляные татарские локоны.

Ваш. Ив. Б.

Читая и перечитывая это письмо, я задавала себе вопрос: как может человек в его возрасте писать мальчишеские письма? Но если меня что и трогает, так это именно умение сохранить до конца жизни детские черты...

Он уверял, что не преследует никакой цели, но было очевидно, что он хочет вырвать у меня согласие на встречу.

Взвесив все за и против, я решила пригласить его (заодно обидевшись за сравнение со стеной). Он сразу ответил мне пневматичкой, адресованной мадам Буниной. Почтальонам все равно, что одна буква не та, а меня это письмо растрогало:

Вторник

Получил Вашу записочку, милый и немилостивый друг. Простите, если что сказал не так, как надо. Благодарю, что хотите видеть меня завтра (в среду) вечером. Конечно, приду, но все-таки позвоню Вам завтра между часом и двумя — для точности.

Ваш Ив. Б.

П.С. Все-таки почему рассердились на "стену"? Я хотел сказать: "Вы меня не слушаете!" — "Раз говори, другой — слушай!" А Вы не слушаете.

Еще одна уловка старой лисы. Нелюбезное сравнение со стеной имело в виду мою толстокожесть, сейчас же, когда мир был водворен, Бунин пытался изобразить это сравнение не так обидно: будто я его не слушаю и слишком много говорю сама.

Свою же внимательность он доказал в полной мере, явившись в среду вечером. Перед ним у меня был А.В., молодой человек, очень обыкновенный, но с которым мне было просто

и легко. Едва войдя в комнату, он понюхал воздух, шевеля ноздрями, как пес, наморщился от отвращения и заявил, испепеляя меня взглядом:

— Здесь пахнет мужчиной!

Скрывая удивление, я надменно спросила его:

— Надеюсь, вы не думаете, что ходите в этот дом один?

— Не только надеюсь, — я требую!

Задохнувшись от возмущения, я искала как ответить, чтобы поставить его на место; но он не дал мне сказать и швырнул мне в лицо неслыханную угрозу:

— Если узнаю, что у вас есть любовник, — изувечу!

От ярости я не могла найти слов. Да и где найти слова, чтобы подействовать на бессовестного старика?.. Поняв, что мне парировать нечем, я пробормотала:

— Какая наглость! А по какому праву?

— Ах, разговор о правах!

Он упал в кресло, вытащил из синей пачки сигарету и дрожащей рукой зажег ее. Руки дрожали так сильно, что он выронил сигарету, а я нагнулась и подняла. Он взял, даже не поблагодарив. Какая уж там вежливость между нами?

Я не могла оторвать взгляда от его худых рук, покрытых коричневыми пятнышками. На бескровных руках только они и были цветными. Руки были совсем пергаментные; очень скоро, может быть, они станут и недвижимыми. Внезапно меня охватила жалость к старику, который на краю смерти еще пытался играть в страсть, чтобы обмануть себя и забыть о неизбежном конце; который страдал от ревности, от тщеславия, от страстей.

Он глубоко вздохнул, прокашлялся старчески-бронхиальным кашлем и умиротворенно сказал:

— Вы все-таки душечка, но зачем вам изображать современную женщину, такую уж слишком свободную?

Он корил меня за то, что я играю, а я — корила его. Устав от всех этих пустых эмоций, я ответила ему без ожесточения:

— Если б я только изображала! Увы, я действительно современная женщина, принужденная вести мужской образ жизни: отвечать за каждый свой шаг, выбирать знакомства, раз-

бираться с издателями, с финансовыми бумагами, с налогами. Разве я не заслужила хоть какой-то свободы? Ее превозносят, эту свободу, а мне иногда кажется, что я бы ее променяла на несвободу гаремной жены!

— Вы чересчур интеллектуальны!

— Вы еще на это жалуетесь? А иначе что бы я делала в обществе благородного старца? Я бы давно была в объятиях молодого балбеса красивой наружности.

Бунин удостоил меня улыбки. Внезапно лицо его приняло зяблое выражение — это значило, что он готовится отпустить колкость.

— Кстати, о красивой наружности, — сказал он, — при здравом рассуждении надо признать, что вы даже не хорошенькая.

— Гм... Это "при здравом рассуждении" кажется мне почти галантностью. Кстати, я вовсе не претендую ни на красоту, ни даже на смазливость.

Мое самоуничтожение его не разоружило. Он продолжал с нарастающим пылом:

— Если разобраться детальнее, — вы окажетесь просто некрасивой.

— Может быть, вы предвзяты и преувеличиваете?

— Нет, дорогая, позвольте... У вашего носа была бы благородная форма, если бы не это утолщение внизу, оно все портит; а ноздри — большие и черные, как у лошади. Это при-
скорбно для вас. Продолжим: рот у вас безобразный — губы тонкие, злые. Глаза: большие и черные? Гм, да... У лошади, которую я снова должен вспомнить, у лошади, повторяю, глаза тоже большие и черные — и не то чтоб очень умные. К тому же вы сами рассказывали мне, что на Кавказе даже у собак красивые глаза. А ваши слишком близко сидят. А что за взгляд у вас! Сама жесткость. В остальном все ваше лицо выражает одну только жесткость, остается только задать себе вопрос: как это возможно влюбиться в вас?

— Мы оба задаем себе этот вопрос.

— Да, но проклятье пало на меня; я с полной ясностью вижу все ваши физические и моральные недостатки, но как бы я

ни выставлял их напоказ, я не могу помешать себе быть к вам привязанным. Кто вылечит меня от вас?

— Я сама, если хотите. Скажите мне, что надо сделать, чтобы ваша любовь превратилась в ненависть или хотя бы в безразличие, и я это сделаю.

— Любовь не превращают то в одно, то в другое. А что, вы так уж хотите от меня избавиться?

Как хотелось мне крикнуть ему в лицо — ДА, чтобы прекратить невыносимые споры, бесполезные схватки, резкую, никчемную перепалку! Вместо этого я ответила:

— Наоборот, я хочу вас избавить от себя. Я все время наношу вам раны, пикируюсь с вами, вы сами как-то говорили. Да, вы правы, я действительно зла я.

— О, да! — это был крик души, крик одновременно отчаянный и обвинительный.

— Но вы тоже злой. К тому же вы эгоист, ваш эгоцентризм не поддается оценке, да, вы Нарцис, дорогой Нарцис Алексеевич. Что удивительного, что вы пленились Марией Башкирцевой? Та же натура.

— Хоть раз польстили! Я счастлив иметь общие черты с этой замечательной женщиной.

— Ужасной.

— Как вы можете...

— Нет, нет, дайте мне сказать. После нашего разговора о ней я из добросовестности перечитала ее дневник. Ну и ну, это образец чудовищной гордости, бесконечного самовосхваления, какого-то бесстыдства, от которого завывать хочется! Вот я процитирую вам образец ее рассуждений, они на вес золота: "Аристотель и я..."

— Вы забываете, что эта несчастная девушка...

— Не перебивайте меня!

Он поднял руки и глаза к небу, призывая его в свидетели своего бессилия перед этим разбушевавшимся чудовищем.

— Она убеждена, что на свете нет подобной ей, что никто не способен ее понять, никто не может следовать за ней в высшие сферы. Она обречена на одиночество, присущее избранным натурам. Вас роднит с ней и то, что она ослеплена своим

величием, вы — тоже, она без ума от собственной персоны — вы тоже, она страдает от своего небывалого интеллекта, вы тоже. А между тем, знаете ли вы, сверхзнаменитый Иван Алексеевич, что я встречала в жизни по крайней мере дюжину людей, не уступающих вам по уму.

Это утверждение показалось ему настолько смехотворным, что он расхохотался самым естественным образом, ему показалось это так смешно, что он, обычно очень раздражительный, на этот раз даже не рассердился.

— О, Джанум, вы юмористка; я это понял давно, еще прочтя ваши книжки. Что, действительно, вы встречали дюжину людей моего ума? Ну, дорогая, будем говорить серьезно, почему не установить истину? Такого ума, как у меня, нет ни у кого, с этим я ничего не могу поделать!

— Ненавижу ваше самодовольство, — сказала я и услышала, что голос у меня дрожит от скверных чувств.

— Это не аргумент, опровергающий мой ум, а реакция вашего дурного характера.

— И еще я ненавижу ваши самоуверенные суждения о литературе!

Я уже чувствовала себя судьей, прокурором, обвинителем:

— Вы скопом отрицаете всех живых писателей и четыре пятых умерших. Вы презираете всех русских писателей, среди них и Горького, и Куприна, и Алексея Толстого, и Чехова... Да, да, знаю: было время, вы обожали его, вы и Куприна когда-то обожали и других. Но после Нобелевской премии у вас вскружилась голова... теперь никто не существует, кроме Толстого, которому вы, так и быть, позволяете быть равным вам... Равным вам, да простит вам Бог! Это самообожание приводит к тому, что вы презираете остальных. Я помню вашу фразу, достойную войти в собрание ваших перлов.

— Какую фразу? — спросил он подозрительно. Мой монолог погасил его вспыхнувшую было веселость.

— Фразу, которую вы сопроводили глубоким вздохом: "Мне всегда не хватало кого-нибудь, кто, живя рядом со мной, записывал бы мои мысли и следил бы за рождением моих произведений".

— Ну что ж, дорогая моя злючка, нравится вам это или нет, рождение моих произведений заслуживает того, чтобы быть записанным. Многие критики корпят над ними и делают открытия, на которые вы неспособны, да не рассердит вас такое утверждение.

— Нет, совсем не рассердит, — сказала я, сотрясаясь от бешенства. — Может быть, вы и правы, что будущие поколения обездолены из-за того, что не нашлось человека, могущего проследить за истоками вашего творчества, вникнуть в него и записать все. Во всяком случае, я решила больше не взрывать из-за ваших неслыханных претензий. Отныне перед вами покорный ягненок!

Да, я решила покончить с этими спорами, которые нас изнуряли: ни Бунин не станет скромнее, ни я терпимее, и все наши разногласия не приведут ни к чему, кроме порчи нервов друг другу. Раз уж мы хвалимся своим интеллектом, не будем дураками.

Надежда увидеть меня ягненком не могла не разбудить в Буине каких-то чувств. С игривым видом он сказал:

— А вы помните, что за вами долг?

Я сразу поняла, о чем речь. Только этого не хватало — подумала я с раздражением. Но ничего не поделаешь — долг платежом красен; готовая на муки, я подошла к Бунину и, подставив ему лоб, произнесла — "Пожалуйста!"

Но он резко схватил мое лицо жесткими и сухими руками и, держа его в тисках, впился в мои губы своими с такой силой, что я начала задыхаться. Никогда бы я не могла подумать, что у него еще столько сил. Как я ни отбивалась, как ни барабанила кулаками по его груди, он не отпускал меня до тех пор, пока сам не начал задыхаться. На лице его было зверское выражение, он был неузнаваем. "Вот это он и есть, — подумала я, — вампир! Не пожиратель — это слово слишком слабое, — а вампир". Он внушил мне страх, даже ужас, даже не захотелось устраивать ему сцену. "Пусть убирается, — подумала я, — пусть поскорее убирается вон".

Мы не сказали больше ни слова друг другу, и он ушел с видом побежденного победителя.

* * *

Прошло несколько дней, даже, может быть, недель, не помню. Потом пришло письмо, опять написанное на бумаге в клеточку. Как и предыдущее, оно представляло собой модель того письма, которое я должна была ему написать. Он учил меня таким образом, как надо с ним обращаться:

"Удивительно все-таки вышло, мой дорогой "покорный ягненок"! Никто еще не выставлял его за дверь так, как Вы, — не обрывал с ним отношений так оскорбительно безмолвно. Во сто раз было бы добрее сказать прямо, — так, например:

"Извините меня, я немножко виновата — необдуманно втянула Вас (своими приглашениями к себе, своими неумеренно ласковыми словами) в Ваши чувства ко мне, потом увидела, что поставила и себя и Вас в ложное положение, которое мне стало неприятно и тягостно, — давайте же расстанемся мирно, но определенно; конечно, мы могли бы все-таки видаться иногда, как хорошие знакомые, я убедилась, что Вы т е п е р ь уже поняли мое н а с т о я щ е е отношение к Вам и легко бы пошли на это, — но, извините, мне даже знакомство стало тягостно, стало как-то неловко, тем более неловко, что, повторяю, я сама дала Вам ложный повод на многое..." Да, лучше бы было так сказать, а то вышла какая-то уж очень обидная небрежность с Вашей стороны...

Всех благ, целую Вашу руку.
Ваш Ив. Б.

Читая это письмо, я представила себе его, раздавленного отчаянием, разрываемого противоречием между слишком юной душой и слишком дряхлой плотью, представила себе, как он борется с бессонницей и ностальгией, как он перебирает в уме все то хорошее и все то плохое, что исходило от меня, и решила, что не имею права оставлять его в этом состоянии.

Оставалось одно — написать ему. Не с легким сердцем я решилась на это! Меньше, чем когда-нибудь хотелось мне его видеть, — после этой сцены с поцелуем. Он удивил меня тогда

своей грубостью, вспоминая о ней, я вздрагивала от возмущения: как он посмел? Как не пришло ему в голову, что это может вызвать у меня физическое отвращение?

Однако решившись, я написала ему. Написала, что была очень занята, что до сих пор еще перевожу текст т о г о д р у г о г о . Письмо кончалось приглашением прийти ко мне.

На следующий день Бунин оставил у консьержки ответ и книгу.

Понедельник

Благодарю, завтра вечером приду — ничего не поделаешь! "Любовь страшна и могущественна, как рев бешеного слона ночью над колыбелью ребенка".

Эту книгу хотят переиздать в немецкой Швейцарии — пожалуйста, просмотрите в ней хоть что-нибудь — хорошо ли звучит перевод, не надо ли сделать новый?

Ни обращенья, ни подписи: "К чему все эти фиоритуры между любовниками, когда они навеки вместе и в жизни, и за гробом?" — подумала я с желчью. А книгу он прислал мне с двойной целью: показать, что его перевели всего, и заставить меня на него поработать. Но я поставила книгу на полку, не заглядывая в нее.

На его месте я не пришла бы больше сюда. Зачем возвращаться ко мне — к этому отравленному фонтану, когда можно спокойно жить и работать возле жены — кристально чисто-го источника?

Бунин пришел шелковый. Воображаю, каких усилий стоила ему такая неестественная для него позиция. Он поцеловал мне руку с поклоном, и я поняла, что сейчас последуют светлые минуты, потекут светлые часы. На сколько хватит у него кротости поддерживать такой вид? С глубоким вздохом упал он в кресло; не знаю, относился ли вздох к больной пояснице или к душевным страданиям. Потом он начал говорить такие слова, что я слушала, разинув рот:

— Вы красивая, Джанум, очень красивая!

Я слушала его, немея от изумления, ничего не понимая.

— Да, да, вы очень красивая.

— Я красивая? А нос, который кончается утолщением, а губы, тонкие и злые? А...

— Ха, ха, ха, — смеялся он добродушно, что вовсе не шло ему. — Вы не поняли разве, что я тогда над вами издевался? Я не говорю, что у вас классическая красота, с правильными чертами лица, но в вас есть кое-что. Скажем так... у вас есть тип, да, тип!

— Странно, — выпалила я, — я привыкла к таким компли- ментам: хотя вы и не красавица, но... Пожалуй, это лучше, чем: вы красавица, но...

— К тому же у вас такой живой ум... вы все схватываете на лету. И еще у вас есть то, что я называю литературным чутьем.

Я не верила своим ушам: он приписывал мне такие каче- ства, мне, которая не умела оценить великого Бунина! Вскоре я поняла, что все дороги ведут все равно к нему; и еще я поняла, почему он удостоил меня таким комплиментом. Он продолжал:

— Мой покорный ягненок, я принес вам книгу, которая, надеюсь, вас заинтересует хоть немножко, в ней говорится о вашем покорном слуге.

Его скромный и даже слегка просительный тон должен был бы меня тронуть, но мой скверный нрав только раздражился:

— Это, конечно, хвалебная книга, иначе вы не принесли бы ее мне?

Бунин вздохнул, покачал головой в знак грусти и покорно- сти судьбе.

— Злая газель, почему вы требуете от меня, чтоб я был свя- тым? Разве не естественно, что я хочу получше выглядеть в ваших глазах?

Аргумент был справедлив, и я должна была умолкнуть.

А он продолжал тоном скромника:

— Знаете, что мне пришло в голову? Почему бы мне не написать статью о вас? Мне удовольствие, а вам реклама!

Опять мне показалось, что я ослышалась: как, он — Вели-

кий, Несравненный, Равный Толстому, учитель Чехова, опу- стится так низко, что будет говорить обо мне, о мелкой сош- ке, которая к тому же и пишет не по-русски!? Боже, подума- ла я, уж не любит ли он меня в самом деле?

Я рассыпалась в благодарностях, но удивляться не кон- чила.

— А знаете, я еще не решил окончательно про наше пу- тешествие в Москву. Я все размышляю, Джанум, я размыш- ляю и все взвешиваю: ведь на карту будут поставлены мои честь и жизнь.

— Вы что, боитесь, что вас повесят на Красной площади в назидание всем писателям в СССР?

— Нет, но кто знает? Если даже я, в конце концов, отка- жусь от этого путешествия по причинам вполне уважитель- ным, то уверяю вас, дорогая, — тон его стал интимным, и он даже понизил свой мощный голос, — я располагаю такими воз- можностями, что вы и не подозреваете. Могу предложить вам путешествие со мной в Италию, например, — вы ведь никогда там не были? Рим, Флоренция, Ассизы?.. Могу вам предло- жить любое путешествие, какое захотите. Вам стоит только заикнуться!

Это была классическая сцена соблазнения, какие разыгры- ваются испокон веков между мужчиной и женщиной. На заре человечества средством соблазнения служила шкура только что убитого зверя.

— Мне бы хотелось вас побаловать, — снова произнес он, — вам стоит только заикнуться.

Я была поражена. Нет, в самом деле он меня любит, теперь я была уверена в этом или почти уверена. Но, хотя и ослепленная этой боярской щедростью, я живо вскочила на пьедестал, это была реакция древняя и сильная, к тому же дурацкая; позже я не раз жалела о ней. Слишком часто муж- чины пользуются этим первым благородным порывом жен- щин, чтобы забыть свои предложения.

— Терпеть не могу, когда надо просить. Люблю получать только то, что мне предложено сразу, от души.

— Вечно эта независимость! — он констатировал это беззлобно. — Держите, я принес вам маленький сувенир.

Он опустил руку в карман куртки. Что он вытащит оттуда? Обручальное кольцо? Пудреницу? Какую-нибудь редкую вещичку, чтобы закрепить наше странное соглашение? Но, видно, это был день чудесных сюрпризов: он протянул мне маленькую любительскую фотографию, он был изображен стоя, одетый в одни короткие шорты. Его нагота сияла во всю красу семидесяти семи весен, на берегу озера под пальмами.

— Посмотрите, какие породистые ноги! — голос был взволнованным. — А ширина плеч! Ни тени живота, ни капли жира. В мои-то годы! — он превозносил свои стати, как будто речь шла не о нем, и делал это с объективностью торговца, который не может удержаться, чтоб не похвалить свой товар, хоть он уже и продан.

— Действительно, годы почтенные, и фотография, я должна признать, — отличная. Когда это вас снимали? — безжалостно допрашивала я, несмотря на радужные перспективы, открывающиеся передо мной: и путешествие в Москву, и хвалебная статья обо мне, и поездка в Италию!.. А потом в литературе останется память о знаменитой паре: Бунин и Банин в Венеции, в Равенне, в Тиволи...

— Во время войны на юге, два-три года назад — не больше. Я с тех пор не изменился.

"Блажен, кто верует" — подумала я. Эта фотография должна служить приманкой, должна меня стимулировать...

— Вы и правда отлично сложены.

Он распустил павлиний хвост.

— А элегантность линий, а выправка!..

Он сиял.

— А живость и острота ума — необыкновенные.

Будь он молод, он вскочил бы и расцеловал меня, но сейчас он только послал мне воздушный поцелуй в знак благодарности и обожания. Но мой гимн Бунину был еще не окончен.

— Еще я нахожу восхитительной вашу способность увлекаться столькими вещами... в вашем, извините меня, возрасте. Я очень высоко ценю молодость вашей души.

Лицо его выражало такую крайнюю степень растроганности, что я испугалась, как бы он не заплакал. К счастью, он ограничился тем, что сказал:

— Ах, Джанум, душечка моя, почему вы не всегда такая милая? Мы бы не цапались, как бешеные кошки, и были бы всегда счастливы. Будь вы всегда такой, как сегодня, на земле настал бы рай.

— Как будто виновата всегда я? Вы забываете, что у каждого вашего достоинства есть продолжение в виде ужасного недостатка.

— У меня?

Надо было слышать это "у меня?" с тремя восклицательными знаками и со столькими же вопросительными.

— Какие же это ужасные недостатки?

Солнечная погода кончилась; наши небеса покрылись темными тучами, и, как на смех, на улице погода испортилась тоже: я услышала дальние, глухие раскаты грома.

— Прежде всего — ваша склонность к тирании. Вы не представляете себе, как меня возмущают ваши взгляды: конечно, тут нет ни вашей, ни моей вины, — мы просто совершенно разные. Вы меня все время провоцируете вашим болезненным шовинизмом, вашим упорным сопротивлением всему, что исходит от Европы и, главное, от Франции. Если есть что-то хорошее на Западе, вы к нему нечувствительны, глухи, слепы; если есть что-то плохое — вы тут же сразу с микроскопом, с прожектором.

— Зачем вы опять начинаете...

— Потому что вы должны знать, что я думаю. Когда какой-нибудь бедняга-эмигрант ведет себя враждебно в стране, куда он бежал, его еще можно извинить: он — жертва. Он страдает, а страдание вызывает агрессию и ненависть. Но вы! Вы знамениты и это открывает вам двери во все высшие слои европейской интеллигенции. А она ничуть не хуже вашей русской. Вы встречались со средними и крупными талантами всех национальностей, всех возрастов. И среди этой массы литераторов вы не нашли никого, с кем сблизиться или хоть просто завести приятное знакомство? Это неслыханно: вы ходите

только к русским, вы неспособны заинтересоваться кем-нибудь, даже самым замечательным в мире человеком, если он не связан с Россией. Чтобы вас хоть чуточку заинтересовать, надо, как минимум, говорить по-русски.

— Вопиющая несправедливость!

— Отнюдь, все мои обвинения основаны на точных фактах, которые вы не можете отрицать.

— Я никого не презираю, это о них меня презирают.

— А я не верю. Я не самый великий писатель в мире (каким вы при всей своей скромности почитаете себя), я не богата, вообще я — никто, между тем, я никогда не чувствовала к себе ни малейшего презрения. А сколько эмигрантов работают, подобно мне, с "туземцами", имеют с ними связи, вошли в их жизнь. Назвать имена? Имя им — легион.

— Вы нестерпимы, нестерпимы, нестерпимы! Почему только я вас терплю? Вы меня приколдовали... Но я постараюсь избавиться от вашего колдовства.

— Вот поразительные речи, достойные средних веков! — воскликнула я.

Снова мне показалось, что он сейчас разрыдается, — на этот раз не от счастья, а от горя, лицо его выражало крайнее огорчение.

— Не стыдно вам так жестоко обращаться со стариком? Я подскочила:

— Ах нет! Хватит меня шантажировать! Вы что, считаете, что я должна попеременно то забывать про ваши годы, то приходить от них в умиление!? Нет уж, нет уж, что-нибудь одно!

Бунин сделал типично русский жест — помахал рукой, как бы отгоняя муху, что означало: к чему спорить, все это бесполезно... Одновременно он пробормотал несколько неразборчивых слов, явно не в мою пользу. Но мне уже было все равно: он мог думать обо мне, что угодно, он это понял.

Он ушел подавленный, все его благие намерения разбились об адский характер недостойного предмета его страсти.

Что же касается его обещаний, я в них не верила. Я сразу заподозрила, что они были просто приманкой.

Через пять минут после его ухода полил дождь, сначала он шел умеренно, потом хлынул тропическим ливнем. Где-то мой незадачливый воздыхатель? Около авеню Клебер? Далеко еще до метро, и как всегда — ни одного такси на горизонте. Я вспомнила, что у него не было ни плаща, ни зонта, что у него больные бронхи, вспомнила о его склонности к простуде и ужаснулась: он может схватить воспаление легких и умереть — все это из-за меня. Меня грызла совесть.

Мне стало так страшно, что я схватила свой плащ и хотела было лететь его спасать. Но это благородное движение длилось секунду, — ровно столько времени, сколько понадобилось молнии, чтобы сверкнуть. Я остановилась, прижав к груди плащ, — куда бежать? Где его спасать? Может быть, он успел все-таки войти в метро, а может быть, спрятаться в подворотне, а может быть, — бывают чудеса — поймал такси?

Я села за стол продолжать прерванный перевод, пытаюсь прогнать тревогу: в конце концов, не заболит же он сразу от нескольких капель дождя, и даже, если заболит — не умрет же сразу. И даже, если умрет — будет ли это моя вина? Несмотря на все эти самоуспокоительные рассуждения, я не могла освободиться от чувства вины, которое меня мучило.

* * *

Вера Николаевна была права: ее муж был самым незапамятным человеком на свете. Через день я получила от него самое длинное из всех писем, какие он мне писал:

Среда

Мой дорогой брат, нет ли у Вас Вашей какой-нибудь маленькой фотографической карточки и не можете ли Вы дать мне ее на память о наших встречах и ссорах, в которых всегда виноваты только Вы, Ваш "роптивный", колючий характер, Ваше нежелание внимательно слушать меня и Ваша страсть часто приписывать мне мысли и чувства несуществующая?

Между прочим: откуда Вы взяли, например, что я не признаю на свете ничего, кроме руссаго, что я упоен только им, этим русским, — я, который так много лет провел в скитаниях по множеству чужеземных стран и немало писал о них с восторгом? Откуда Вы взяли, что я ненавижу французов, хотя Вы и представить себе не можете, как невнимательны, как небрежны были они к истинно огромному, историческому и трагическому явлению русской эмиграции, как почти никто из них, даже наиболее просвещенных, не проявил ни малейшего желания сблизиться, общаться с нами, несмотря на то, что в среде эмигрантов, оказавшихся во Франции, был чуть не весь цвет русской общественности, русской мысли, русского искусства во всех его, как говорится, "отраслях". Если и приглашали нас иногда на "гутэ", то почти всегда бельгийцы или швейцарцы, живущие в Париже, ставшие парижанами, и французы из этих "гутэ" ограничивали свои разговоры с нами самыми незначительными светскими фразами, порою даже оскорбительно-покровительственно! Ромэн Роллан, — безжалостный идиот, — писал мне, что я, конечно, счастлив, что "гроза революции очистила затхлый воздух царизма" — та самая чудесная "гроза", во время которой Россия тонула в таком море крови, диких зверств и разбоев, каких еще никогда не было во всей человеческой истории; А. Жид отнесся к этой грозе, как последний сноб; Леон Додэ, которого поголовно все французы (даже и те, что ненавидели его как политика) считали великим, непогрешимым критиком литературы, писал незадолго до своей смерти, что Толстой "все-таки дикарь, варвар"; А. де Ренье сказал мне однажды, ни с того ни с сего, с величайшей неделикатностью, что он вполне понимает Дантеса, убившего Пушкина, — "que voulez-vous, ведь Пушкин тоже мог убить его!" — хотя вполне мог не говорить мне этого... — и так далее и так далее... Много, много сказал бы я Вам еще и еще по этому поводу, да ведь все равно не одолеешь Вашего упрямства, а кроме того, так мерзка эта хлопчатая бумага, что писать на ней тяжкое мучение, настоящий телесный труд.

У Вас есть мои "Избранные стихи"; посмотрите как-нибудь

231 страницу — там в стихотворении "Встреча" есть строки о том, как я отношусь к некоторым телесным запахам: — с мистическим упоением!

Все тот же зной и дикий запах лука

В телесном запахе твоём...

Посылаю Вам "Утро" Г.Н. Кузнецовой, чтобы Вы убедились, что слухи о ее глупости и бесталанности — сущий вздор. Посмотрите эту книжечку — не все же сидеть за переводом того, как ловят рыбу норвежцы и какая вытекает из этой ловли социология и философия!

И еще вот что: что может быть ужаснее, когда хочешь поцеловать милую сердцу женщину, а она в тугой узелок сжимает губы! Кровная обида, смыть которую можно только кровью!

Ваш Ив. Б.

Я ответила ему таким же длинным письмом, писать его от руки было бы слишком трудно, я уселась за машинку, представляя себе, какую он скорчит мину, увидев письмо на машинке, да еще по-французски (по его же словам, он знал французский плохо, — впрочем, достаточно, чтобы читать).

"Ваше письмо адресовано какой-то особе, которая совсем не знает жизни русской эмиграции во Франции. Напомню Вам, что я живу здесь больше четверти века, что я сама — эмигрантка и знаю обо всем не меньше Вашего, если не больше.

Вы спрашиваете, откуда я взяла, что вы ненавидите французов, а сами после этого вопроса осыпаете их оскорблениями: я из Ваших собственных жалоб почерпнула эти сведения. Осложнение еще вот в чем: ваша холодность, которую многие заметили, Вас роднит гораздо больше с французами, чем с Вашими соотечественниками. У Вас полностью отсутствует та русская теплота, которая, хотя и взрывчата, но очень симпатична. И даже хуже: Ваша холодность часто переходит в презрение к людям. Да, Вы можете быть пламенным, даже вулканическим — я об этом знаю кое-что — однако это касается только Ваших любовных переживаний, вне их Вы не только замороженный, но еще и презрительный, и это не толь-

ко в отношении к Франции. Вы презираете все человечество, включая в него и всю Советскую Россию: я еще никогда не встречала такого презрительного ко всему отношения, как у Вас.

Что ж удивительного, что чашка чая ("гутэ"), к которой, я думаю, подавали и сладости, оставила в Вас только горькие ощущения и не превратилась позже в "дине"? Я могу себе представить, как вы себя вели...

Прибавим еще, что Вы терпеть не можете говорить по-французски, это тоже сыграло свою роль в том якобы остракизме, которому Вас подвергли. Остается только добавить, что пора разрушить легенду о том, что все русские способны к языкам. Они хорошо говорят на иностранных языках, если их учили с детства няньки, гувернеры и гувернантки, как это было принято в дворянских семьях. Любой ребенок любой национальности выучился бы языку в таких условиях. Но русская эмиграция дает нам пример редкой неспособности к языкам: прожив четверть века во Франции, многие, женатые на туземках, говорят до сих пор на негритянском французском.

Вы упрекаете французов в том, что они не проявляют интереса к русским, несмотря на то, что "в среде эмигрантов, оказавшихся во Франции, был чуть не весь цвет русской общественности, русской мысли, русского искусства". Однако сколько русских эмигрантов занимает здесь блестящее положение: Труайя, Триоле, Кессель, Лифарь, Питоев, Гурджиев, тьма художников, актеров, танцовщиков и т.д., и т.п. — невозможно перечислить всех — разве это не опровергает Ваши обвинения? "В Париже, — сказал мне однажды грустно один мой французский друг, — легче прославиться иностранцу, чем французу с таким же талантом". Может быть, это преувеличение, согласна. Во всяком случае, мой личный опыт показывает, что экзотическое происхождение привлекает к вам внимание: родившись в глубинах Кавказа, я вызываю больше любопытства, чем если бы родилась в Сен-Дени или в Бельвиле. Конечно, нужно интересоваться французами, принимать участие в их жизни, ассимилироваться, но Вы этого не делаете.

Ромэн Роллан писал Вам, что "гроза революции очистила затхлый воздух царизма"? А Вы считаете, что это был либеральный режим? Андре Жид об этой самой революции говорил, "как последний сноб", Вы не уточняете, что значит говорить, "как сноб", о таком событии, мне это хотелось бы знать... Анри де Ренье сказал Вам с "величайшей неделикатностью", что он понимает Дантеса, убившего Пушкина. Мне кажется, что это нормально: на дуэли покушаешься на жизнь противника, чтобы самому остаться в живых; это — плоское утверждение, но справедливое. Что же до мнения Леона Додэ о Толстом ("который был все-таки дикарь и варвар"), то можно его отстаивать. Вы знаете, что я его люблю и поклоняюсь ему так же, как и вы, но не бывало ли у него в его взглядах частенько "тупого мужика"? Он ничего не понял ни в Моне, ни в Мане; он презирал Микеланджело и Вагнера, ненавидел Брамса и Бетховена; про Шекспира писал статьи, честно говоря, ужасающие. И даже можно было бы все эти мнения отстаивать, но он выражал их с такой дикарской резкостью, так непримиримо... А подумайте о том, как он относился к своей жене: она беременела от него каждый год, а он не обращал внимания ни на ее страдания, ни на ее усталость, — проповедуя на весь мир ужас перед плотью. И крестьянской одеждой, и бородой патриарха он напоминает пророков из Ветхого Завета, которые расточали на все четыре стороны свои проклятья с фанатизмом, который Вам известен.

И еще раз о Франции. Разрешите мне задать Вам вопрос: почему Вы и несколько сотен тысяч Ваших соотечественников обосновались здесь, а не где-нибудь в другом месте? Я уже спрашивала об этом одного друга, который ненавидит Францию... Он мне ответил: "Потому что это единственная страна, которая согласилась меня принять"... Что Вы хотите, не повезло некоторым.

И если многие русские не могли больше никуда ехать, то для Вас все было иначе, дорогой лауреат, которым восхищаются во всем мире: Вы могли выбрать любую западную страну. И если Вы остались все-таки во Франции, значит, в ней Вы чувствуете себя неплохо. Почему бы не включить это в ее актив?

Вашу враждебность, скажем (чтобы смягчить выражение), недостаток любви и интереса, простить гораздо труднее, чем какого-нибудь Петрова, Иванова, потому что Вы — писатель. Как же Вы можете оставаться нечувствительным к красоте этой страны, к ее истории, к ее интеллектуальным богатствам, к ее артистизму? Вы против нее имеете только одно: она стра-на Вашей эмиграции, а не Россия. Вы ушли в свою скорлупу "Made in Russia", высовываете голову только для того, чтобы брюзжать.

Мне остается только переписать отрывок из Вашего письма: "Много, много сказал бы я Вам еще по этому поводу, да ведь все равно не одолеешь Вашего упрямства..."

Верьте, дорогой Иван Алексеевич, в мои дружеские чувства."

П.С. Простите, что пишу Вам на "иностранном" языке и на машинке; у меня не хватило духу писать такое длинное письмо от руки.

* * *

Мое послание вызвало новое пневматическое письмо:

Вот мой ответ на Ваше гневное письмо, дорогая Банин. И не думайте, что я писал Вам потому, что лично был обижен кем-либо из французов, — сам Пуанкарэ прислал мне любезнейшее письмо однажды, — когда я послал ему одну из своих книг, — и я имею множество просто восторженных писем и от некоторых весьма знаменитых французских писателей (R. Rolland, A. Gide, Roger Martin du Gard, Rene Ghil, Claude Farrere, Carco и т.д.) — они, конечно, никогда не думали, что "зерно европеизма", данное мне, меньше такого же "зерна" в Шестове., в Тарасове, в Триоле и т.д.

Ваш всегда Ив. Б.

Пятница

К этому письму была приложена вырезка из газеты, где критик воспевал тонкость его восприятия и прочие литературные достоинства.

Мне больше не хотелось ему писать; не хотелось его видеть, не хотелось слышать о нем, я не хотела больше спорить с ним. У меня было только одно желание: не встречаться с ним больше.

Но Бунин был так же упорен в своей любви, как и в неприязни. Через неделю я получила бессмысленное послание, со-державшее четверостишие:

**Я опущусь на дно морское,
Взлечу в надзвездные края —
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня, люби меня!**

Призыв этот на меня не подействовал, любить его я не могла, стихи эти оставили меня холодной и полной недоверия... Я продолжала хранить молчание в надежде, что одно молчание породит другое. Я ошиблась: через неделю пришло письмо в ином тоне, чем пневматичка. Оно было шутивным:

Пятница

Как поживаете, прекрасная магометанка? Сто лет от Вас ни слуху, ни духу!

Был позавчера у Ремизова — с Надеждой Александровной. В разговоре коснулись, конечно, и Вас: она мне рассказала, что чудесный Лорис-Меликов потерял какую-то Вашу рукопись и чуть не умер от огорчения; надеюсь, она нашлась в конце концов? Потом Н.А. сказала, что Вы совершенно серьезно убеждены в моем фантастическом упоении собой во всех смыслах, и мы немало и очень весело смеялись над этим. Так Вы, значит, ничуть не шутили, когда упрекали меня в этом (да и во многом другом)? Это прямо восхитительно! А за всем тем соскучился я по Вас до отчаяния, до мыслей о самоубийстве. С нетерпением жду следующего лета, когда Вы, может быть, снова позволите мне видеть Вас на минуту.

Ваш несчастный поклонник,

Нарцис и гениальный писатель

П.С. Был когда-то некий адвокат Грузенберг, настолько убежденный в своей великой славе, что о нем ходил такой анекдот (насчет его пребывания в Берлине): "Грузенберг

всюду рассказывает, что Вильгельм Второй сошел с ума: бегаёт по Берлину и кричит, что он — Грузенберг!" Как видите, мне все-таки далеко до Грузенберга и до Вильгельма, я все-таки не бегаю по Парижу и не кричу, что я Andre Gide.

Он пытался острить, ухищрялся всячески, чтобы вдохнуть в меня восхищение им, а я не восхищалась. Однажды он сказал голосом, дрожащим от обиды: "Вы цените меня меньше, чем кассирша нашего кафе".

Зазвонил телефон, голос Тэффи призывал меня увидаться с моим возлюбленным. Написала я ему все-таки, он прибежал "на одну минуточку", а просидел много часов.

Зажигая негнущимися пальцами сигарету, он сказал со смиренным видом такие агрессивные слова:

— Никогда в жизни не встречал такой злющей женщины, как вы.

Задетая за живое, я однако сумела промолчать, а Бунин продолжал свои инвективы:

— Ваше письмо дышало самой чудовищной злобностью. Вы меня изображаете каким-то мужланом, неспособным наслаждаться красотой мира, если она дальше русской границы. Вы — первая на свете, кто кидает мне такие упреки. Мне-то, который описывал Италию, юг Франции и другие страны с восторгом и влюбленностью! А что у меня нет друзей, кроме русских, так это чистый случай, или просто мне не повезло.

— У вашего случая и невезенья есть оборотная сторона...

— Вы обо мне толкуете без всякого участия или жалости. У вас каменное сердце. Вам нравится меня оскорблять, причинять мне страдания, вы меня не любите больше.

Я не люблю его больше! Всемогущий Господь! Чего только не приходится слышать? Я не люблю его больше! Да разве я его любила? Говорила ему об этом? Писала? Где, как, когда? Или у него слуховые галлюцинации? Или он выдает свои внутренние ощущения за исходящие извне?

Он, окончив свой монолог, уселся поудобнее, и лицо его приняло грустное выражение.

Даже не зная, почему, я дала себя увлечь жалости и сказала с ангельской кротостью и даже нежностью, которой я была сама удивлена:

— Уверяю вас, Иван Алексеевич, я не изменилась. А если даже что-то изменилось, нет ли в том и вашей вины? Разве я одна виновата, что мы думаем всегда по-разному?

Саркастическая улыбка смягчила его лицо, до сих пор застывшее в ожесточении.

— Вы хотите сказать, что, имея тюрко-персо-монголо-азербайджанские корни, вы обладаете европейской тонкостью психологии, тогда как я, выходец из старинной русско-дворянской семьи, остался вшивым мужиком, неспособным воспринять мировую культуру, то есть, Запад? Да, верно, вы ведь не верите в передачу благоприобретенных признаков.

— Я только повторяю утверждения биологов, не претендуя, конечно, самостоятельно защищать их. Но не пытайтесь раздавить меня благородством своего происхождения, — тщетное занятие — мне интересен только человек, как личность.

— У вас анархическое мышление, самое для меня ненавистное. Не понимаю, что могло меня привлечь к вам?

За время нашего знакомства он задавал мне этот вопрос в десятый, двадцатый, тридцатый раз...

— Почему, каким образом смог я привязаться к вам? Я страдаю, как мальчишка. Позавчера я написал вам четыре письма и все разорвал. Я написал бы вам и пятое, если б вы не позвонили. Кстати, пока не забыл, отдайте-ка мне все эти глупости, какие я имел слабость вам посылать.

Ангельское состояние сменилось обычной агрессивностью:

— А вот это уж нет — никогда! Один-единственный раз у меня есть что-то от вас.

Я даже смутилась, настолько очевиден был намек на его скупость, но этот крик сердца вырвался раньше, чем я успела его удержать. Бунин сделал вид, что его не слышал.

— С вас станется их напечатать.

— Имея неосторожность писать женщине, да еще причастной к литературе, надо знать, чем рискуешь.

— Хораш я буду! Вы же меня выставите на посмешище...

— Половина русской колонии знает, что вы влюблены в меня, вы сами постарались всех оповестить об этом литературном событии.

— А теперь я изменил свое отношение: я не хочу, чтобы эти письма были опубликованы... Во всяком случае, пока я жив, — прибавил он.

— Обещаю подождать. Я даже думаю, что закон мне запретил бы.

— А жена? Думаете, ей приятно будет их читать?

— Бедняжка! Наконец-то вы о ней вспомнили. Вы никогда ее не щадили — немножко больше, немножко меньше... Хорошо, обещаю вам не публиковать их при жизни Веры Николаевны. На этом мои уступки кончаются, я и так считаю их очень существенными, не ждите большего. Да просто как женщина я не могу не похвастаться вашими ко мне чувствами, а ведь я еще литератор. Как бы я могла оставить в безвестности письма большого писателя? Такая скромность была бы сродни героизму, а в отношении вашего имени — глупости.

Бунин сосредоточенно размышлял. Я угадывала ход его мыслей: с одной стороны, ему не улыбалось предстать перед потомством в роли отвергнутого любовника; с другой, — что приятнее для писателя, чем знать: ты будешь в центре внимания, тобой будут заниматься, восторгаться юностью твоей души, мощью твоих страстей, широким дыханием твоей славянской души.

Я прервала его размышления:

— Что может быть прекраснее, чем любить на склоне лет? На это способны немногие. Страдать от любви в вашем возрасте — это просто восхитительно.

Он пронзил меня взглядом:

— Все это вы говорите, чтобы заранее оправдать предательство?

— Какое предательство? Разве у нас было соглашение, что я верну вам ваши письма?

— Может быть, вы поощряли меня вас любить, чтобы я вам писал письма?

— У вас макиавеллевский склад ума — подозревать меня в

таких расчетах! И как, интересно, могла я знать, что вы напишете мне столько писем, да еще прекрасных?

Он продолжал размышлять и переживать обиду, все свои обиды. Поскольку я употребила прошедшее время, он по мрачнел еще больше.

— Итак, между нами все кончено: вы не хотите меня больше видеть?

— Я этого не говорила.

— Но вы так думаете.

— Да нет, да нет же... — повторяла я нетерпеливо. И это да нет, звучало, как да, да.

Но Бунин хотел только одного — верить мне, и спрашивал только для того, чтобы услышать опровержения.

* * *

А теперь я могу, я хочу, я должна воздать Бунину должное, в чем до сих пор ему отказывала.

Уже в 1946 году, когда мы познакомились, ему жилось нелегко, потому, может быть, все его обещания и оставались обещаниями: взять меня в Италию... или — более скромно — пригласить в ресторан. Двумя годами позже наступила настоящая нужда, и он не знал, на что будет жить следующий месяц. В декабре 1948 года он обращается к писателю Андрею Седых с призывом о помощи:

"...Решаюсь написать Вам еще, что я очень ослабел, задыхаюсь от эмфиземы легких, в это лето я почти умирал из-за воспаления легких, два месяца пролежал в постели, разорился на лекарства и бесполезное лечение эмфиземы, которое мне стоило двадцать четыре тысячи франков. Коротко говоря, мне 78 лет и я так беден, что совершенно не знаю, как просуществовать дольше. И вот, под влиянием крайнего отчаяния, умоляю Вас: ради Бога сделайте что-нибудь для меня, напр., попросите Кусевицкого* и его друзей прийти мне на помощь.

*Кусевицкий — русский дирижер, эмигрировавший в Америку.

Если моя просьба глупа и надежд никаких нет — тогда сожгите это постыдное письмо”.

В январе 1951 года Бунин писал все тому же Седых, который все время старался мобилизовать русских в Америке на помощь старому писателю:

“Дорогой Яшенька *, большое спасибо за 50 франков; сумма, хоть и скромная, но очень нас порадовала. Мы впали в такую нужду за последние три недели болезни, что буквально разорились на почти ежедневные визиты доктора, на пенициллин, на сульфамиды и на прочее. Как мне удалось подцепить плеврит, не выходя из моей конуры — как раз тогда, когда я почти не могу ходить из-за дьявольских болей в правом колене — одному Богу известно. Мои восемьдесят лет исполнились примечательно: “Много визгу, а щетины на копейку”, как говорят на ярмарке про непородистых свиней. Я возлагал надежды на Pearl Buck **, но до сих пор ничто не пришло, не знаю, что и думать. Если б я не продал свои “воспоминания” в Америку и здесь Кальман-Леви, Вере Николаевне пришлось бы итти по миру”.

Бедный Бунин, сколько нужды пережил он за свою жизнь. Ему не было еще двадцати лет, когда он начинал работать в газете, ему так мало платили, что приходилось “трясти” папашу. “Если я взял у тебя 25 рублей, — пишет он отцу, — значит я был вынужден это сделать: я хожу без теплого пальто и брюки совсем обтрепались”.

“Не знаю, как существовать”, — пишет он шесть лет спустя брату, когда уже вышли две его книги. “Ради Бога, ответь мне, как можно скорее. Я помираю с голоду здесь и не могу писать из-за этого”. И тогда же: “Если бы ты знал, как я несчастен! Думаю только о деньгах. У меня нет ни копейки: зарабатывать, писать что-нибудь — нет, не могу, не хочу... Штаны обтрепались, сапоги текут. Ты мне скажешь, что это

*Андрей Седых — псевдоним Якова Моисеевича Цвибака.

** Американская писательница Перл Бак (род. 1892) согласилась возглавить комитет, который должен был отмечать 80-летие Бунина и оказать ему моральную и материальную поддержку. Но этот проект не осуществился.

пустяки. Да, когда-то я думал так же, но сейчас это значит, что я совершенно обнищал. Сегодня, например, я выпил только бутылку молока и ел только суп, даже без свежего хлеба — весь день не курил из-за того, что нет денег...” И в другом письме: “Нужда меня буквально гнетет, она убивает все мои надежды и мысли и ставит меня в безвыходное положение... Поверь мне, Юрочка, частенько я поголаживал из-за безденежья, но никогда еще не был в таком положении...”

И в первое время после эмиграции он был очень беден, потом был беден все годы мировой войны и, наконец, в последние годы своей жизни. Нобелевская премия выручила его, доставила ему небольшое состояние, часть которого он роздал соотечественникам, живущим здесь, — а их тут хватало. “Я получил за короткое время две тысячи писем с просьбами о деньгах”, пишет он. Растратив все, он стал вести ненадежное существование писателя, который полностью зависит от прихоти издателя и от читающей публики, того чудовища с непредсказуемым вкусом, согласно которому посредственную книгу ждет блестящий успех, а блестящую книгу — успех посредственный.

Бунина упрекали в скупости, и этот упрек был, конечно, справедлив. И в то же время он не любил денег. “Я никогда не умел с ними обращаться” — говорил он. И еще: “Я никогда ничем не владел, кроме одного чемодана”. И он написал эти строчки, на мой взгляд, восхитительные:

“Я всегда с ужасом воспринимал всякое материальное процветание, потому что оно поглощает человека целиком. Что же касается излишеств и свинства, которые его обычно сопровождают, они мне внушают ненависть...”

Меня часто удивляло, как уживается в писателе или вообще в интеллигентном человеке скупость и бескорыстие. Но это только кажется противоречием, на самом деле, такая бережливость (чтобы не говорить — скупость) вызвана не любовью к деньгам, а, наоборот, полным отсутствием интереса к ним. Зарабатывают они с трудом, и состояние не является для них ни целью, ни пределом. Поскольку разбогатеть очень трудно, значит нужно удерживать деньги, если они есть; для

того, чтобы не попасть в рабство к деньгам, надо умерять свои траты.

Отказавшись ехать в Москву, Бунин блестяще доказал свое бескорыстие. Отказ героический, если подумать о том, как он был беден и как честолюбив. В Европе он был лишен и денег и почестей, в Советском Союзе он был бы ими засыпан.

* * *

В тот раз Бунин ни за что не хотел уходить, но ушел в конце концов.

Мне нужно было найти предлог, чтобы отложить наше следующее свидание на дальний срок. Я выдумала его: поскольку была уже середина октября и осень давала о себе знать, я написала Бунину, что печник отложил работу над печкой; я знаю, как он боится простуды, и прошу его подождать, когда в доме будет потеплее. Пока я это писала, печка, вычищенная и починенная, урчала в своем углу, дыша теплом и запахом дров. Зная, что Бунин боится выходить по вечерам в холодную погоду, а также боится трат, — я предложила ему сводить меня на советский фильм. Он ответил мне, что разузнает про фильм и несколькими днями позже написал еще одно письмо. Вот они оба:

Понедельник

Только что получил Вашу записочку, дорогая Банин Мирзоевна. Чудесно — узнал все что надо о "советских" картинах и, если окажется что-нибудь интересное, позвоню Вам, чтобы сговориться насчет дня и места.

Всегда и всюду Ваш
Ив. Б.

И еще:

31.X.46.

Мой дорогой кратковременный друг, сделайте мне в свободную минутку одолжение — выпишите (и пришлите мне)

несколько строк обо мне из "Journal" Andre Gide, написанных в начале (или в середине) августа 1942 (или 1941) г. — у меня "Journal" нет, а говорят, что он написал обо мне что-то забавное. Заранее благодарю Вас и целую Вашу руку с неизменной преданностью.

Ив. Б.
1, rue Jacques Offenbach
Paris 16

Все это было шито белыми нитками, он хотел таким образом напомнить мне о своем значении и славе. Как он мог думать, что я поверю, будто он забыл? Ведь этот отрывок из Жида он мне уже рассказывал наизусть. Вот он:

"Со вчерашнего дня в Грассе. В день приезда вечером повиделся с Буниным. Довольно обескураживающая встреча, потому что, несмотря на старания с обеих сторон, между нами не завязались отношения. Одному наплевать на то, чем восхищается другой. Меня одинаково не устраивает ни его культ Толстого, ни его презрение к Достоевскому, Щедрину, Солугубу. Решительно — у нас разные святыни, разные боги. Но в продолжение беседы он был прелестен. Красивое лицо, хотя и покрытое морщинами, — благородно, взгляд — полон огня. Он был одет в темную пижаму, расстегнутую на груди, на тоненькой золотой цепочке, по-видимому, висела иконка. Он сказал, что только что кончил новую книгу, но совершенно не знает, где и как издать ее. Мне было неловко, что я ничего, кроме "Господина из Сан-Франциско" и "Деревни" не читал, а "Деревня" — его юношеская вещь, как он сказал, и не представляет его сколько-нибудь полно. Еще немного и он совсем отрекся бы от нее. Не знаю, что он читал моего, и не мог понять, на чем основывается та симпатия, которую он мне выражал".

Симпатия? Говоря о Жиде, Бунин ничуть не дышал симпатией: "последний из снобов", "посредственный писатель", — вот каковы были его суждения. "Да, он был довольно мил", — согласился он, когда я спрашивала о их разговоре. Впрочем, была всего одна встреча, и, как я уже говорила, им обо-

им ее хватило вполне, потому что между этими противоположными людьми не могло завязаться тесной дружбы.

Я считала, что последнее письмо Бунина не требует ответа. Но он не мог стерпеть, чтобы между нами установилось молчание. Через несколько дней я получила письмо:

4.XI.46

Дорогая моя, вчера В.Н. была у больной Надежды Александровны, и Н.А. сказала ей между прочим, что Вы писали мне насчет синема и что я, по Вашим словам, не ответил Вам на это письмо. Спешу сказать, что я не мог сделать это, — что я Вам ответил тотчас же и, очевидно, Вы почему-то не получили моего ответа. Не считайте же меня невежей, пожалуйста.

Ваш Ив. Б.

П.С. В синема я решил не ходить — панически боюсь получить грипп, который уже пошел по городу и получить который легче всего в толпе. Боюсь даже в метро ездить. Ведь в прошлую зиму был болен месяца три!

Я вздохнула с облегчением: мои расчеты оправдались. Я совершенно забыла его просьбу — прислать ему отрывок из Жида. Но Бунин не забывал ничего:

Не знаю, чем я уж настолько провинился перед Вами, Банин Мирзоевна, что Вы даже не удостоили меня ни словом ответа на то, что я имел глупость все еще писать Вам сравнительно недавно (насчет "дневника" Gide, например). Теперь пишу Вам еще раз только затем, чтобы попросить Вас, — уже для полного окончания нашего нелепого знакомства, бросить в печку все те, чаще всего шуточные записочки, что писал я Вам летом и в начале осени: это, конечно, дело пустяковое, а все-таки мне не хотелось бы, чтобы они когда-нибудь попали в чьи-нибудь руки, могли бы быть даже опубликованы и приняты не за шутки, а за чистую монету, как даже Вы сами при-

нимали их зачастую. Если исполните эту мою последнюю просьбу, буду очень благодарен Вам.

Ив. Б.

Я ответила ему письмом, которое, видимо, было образцом злобности и сарказма, если судить по ответу на него. Я писала, что не сожгу его писем, что напрасно он возвращается к этому вопросу, который мы уже обсуждали и который остался у меня в сознании, как решенный. И что напрасно он придает такое историческое значение малейшим своим писаниям. Примерно таково было содержание моего ужасного письма, которое его страшно уязвило:

23.XII.46

Напрасно изволите насмехаться над "историческим интересом" моих писем, chere Madame Vanine, — я не настолько глуп, чтобы придавать им интерес "перед лицом истории", но это не исключает того, что они могут, по какой-нибудь случайности, оказаться в чьих-нибудь других руках, кроме Ваших, и появиться в печати — вот в России уже немало напечатано кое-чего из моей оставшейся там корреспонденции, даже не смотря на то, что я еще жив.

Ваш покорный слуга Ив. Бунин

Я бросилась к Тэффи показать это письмо и посоветоваться. Она с неизменным интересом следила за тем, что называла "дело Бунин-Банин", над которым потешалась. Она хохотала, когда я рассказала ей о моих жестокостях, подбодрила меня и велела не сдаваться перед Буниным, которому все эти моральные травмы доставляли наслаждение. Она (как и я) не очень-то серьезно все это воспринимала.

— Главное, не отдавайте ему писем. Не хватало бы! Он что, принимает себя за дамочку, которая требует у бывшего любовника вернуть записочки, чтобы не быть скомпрометированной? И я заранее вас благословляю: если вам когда-нибудь захочется их предать гласности — публикуйте.

— Я пообещала не делать этого ни при его жизни, ни при жизни Веры Николаевны.

— Вы слишком щепетильны. Я уверена, что жена не усмотрела бы в них ничего предосудительного. Вы сами уверяли, что она с восхитительным спокойствием взирает на некоторые отклонения великого мужа. Я не уверена, что она его в этом не поощряла.

— Но уж если я обещала... — ответила я, чувствуя себя необыкновенно благородной.

Еще раз я написала Бунину, что письма его не сожгу, что они мои, что... и т.д. и т.п. Он не настаивал, и между нами воцарилось молчание. Наконец-то!

* * *

Прошел год, даже больше. В середине сентября я получила письмо и тотчас узнала красивый почерк Бунина:

12 сентября 1947

Chere Madame,

Вот что пишет мне Надежда Александровна:

"Была у меня Банин. Такая хорошенькая, что пора Вам на нее поглядеть".

Вот мне и захотелось поглядеть. Только один раз. Так что, если Вы не прочь дать мне это удовольствие, не будете ли добры принять меня у себя на один часок, — ровно на один, — в пятницу, в субботу или в будущий понедельник, часов в пять, или когда Вам угодно?

Кланяюсь в ожидании Вашего ответа. Только усердно прошу верить, что если ответа не будет, ни ч у т ь не обижусь.

Ваш Ив. Б.

Я была растрогана его незлопамятностью и написала, что буду ему очень рада. Он пришел, как всегда, с палкой.

Шагал он так же прямо, как в прошлом году, — может быть, чуть медленнее, но спина его мне показалась еще более

прямой. Он церемонно поцеловал мне руку, оглядел меня, не спеша, с ног до головы, и произнес с приятной улыбкой:

— Как всегда подкрашиваете волосы?

— Больше, чем раньше, у меня молодой любовник, нельзя подчеркивать разницу в возрасте.

Я лгала: никакого любовника, ни старого, ни молодого, у меня не было. Но старого лиса надо было уколоть. Он отвел глаза и переменял тему: Тэффи так расхваливала мой вид, что ему захотелось проверить самому.

— Вы так ужасно со мной обращались, что мне следовало никогда больше не видеть вас.

— Я со всеми ужасно обращаюсь, — вызывающе сказала я.

Это опять была ложь, — на сей раз для его успокоения: я вовсе не ужасно обращаюсь со всеми и могу даже быть совсем милой, когда захочу.

— Хорошенькое утешение, — проворчал он презрительно.

— Не очень хорошенькое. К тому же это не утешение, а, скорее, объяснение.

— Женщина должна быть доброй...

— Служить вам и вами восхищаться. Любить вас и обожать. Слушаться вас и поклоняться вам. На все это у меня нет времени. Я живу самостоятельно, как мужчина, и должна уметь постоять за себя, иначе пропаду. Я могу признать, однако, что могла бы быть и не такой злоюкой в отношении вас. Но у вас удивительный дар: вы вызываете мою злость, наверно, потому, что вы сами злоюка.

— Я?

— Да, дорогой мэтр, вы!

— Что вы такое говорите: я всегда изо всех сил старался вам понравиться.

— Вы?

Прошел час, а мы все спорили. Уже на пороге, уходя, он продолжал спорить. Голос его не стал менее звучным от времени, и мой сосед по площадке, встревоженный, открыл дверь, узнать, не надо ли вмешаться.

— Все в порядке, — успокоила я его, — это мы беседуем с моим другом.

— А!.. - произнес он, удивленно поднимая брови.

Сильно опираясь на палку, Бунин медленно, не сгибая спины, спускался по ступенькам. Он остановился еще раз, посмотрел на меня снизу и произнес:

— Ах, Банин, Банин...

Неподвижно стоя на лестнице, я слушала, как удаляются его шаги, и меня не оставляло предчувствие, что он уходит не только из моего дома, но и из моей жизни — навсегда.

Грустно вспоминала я фразу Гете:

"Aller Anfang ist schon".



Аркадий ЛЬВОВ

ПЛОЩАДЬ КОЛУМБА

Объединенный Еврейский Призыв пригласил меня, по рекомендации НАЙАНЫ, Нью-Йоркской Ассоциации Новых Американцев, на очередное свое заседание. В НАЙАНе мне сказали: будете спикером. Я спросил: что это значит — спикером? Дело было, конечно, не в слове. Слово я знал давным-давно, с детства, когда по вине своего отца, завзятого любителя четвертой полосы, пристрастился к чтению газет. Не было дня, чтобы газеты обходились без этого слова: спикер палаты общин предупредил, спикер палаты общин прервал, спикер палаты общин, выражая волю реакционного консервативного большинства, и т.д. Бекицер, спикер было понятие для меня почти домашнее, вроде родственника, к которому настолько привыкаешь, что перестаешь замечать его, перестаешь считать за человека. И вдруг на тебе: я — спикер! Милая еврейка, по имени Таня, ведавшая отделом внешних сношений НАЙАНЫ, объяснила мне: спикер — это значит, вы должны будете немножко рассказать, почему вы приехали сюда, как вам помогает НАЙАНа. Ну, как мы вам помогаем? Про

деньги на квартиру, на питание можете не говорить, про это все знают, а что-нибудь такое, насчет работы, как помогаем устраиваться по профессии, ну, с одними лучше удастся, с другими хуже, с языком, с настроением, по семейным делам, ну, словом, надо рассказать правду, хорошую правду. От плохой правды никому нет удовольствия, ни тому, кто рассказывает, ни тому, кто слушает. И насчет синагоги всегда помните: американцам больше нравится, когда ходят в синагогу и верят в Бога, и главное, имейте чувство меры, слишком долго нельзя, это вам не партсоборание и не палата общин.

Сказав про палату общин, Таня улыбнулась, улыбка была робкая, неуверенная, как будто человек сказал что-то такое, чего не следует делать. Не знаю, действительно ли эта милая американка, с таким кондово русским именем, Таня, проникла в божественный мир моего детства или было это просто совпадение, но мне почудилось на миг, что есть в этом некое предзнаменование, независимо от того, что здесь имело место в действительности — внезапное озарение или же тривиальное совпадение, которое вполне укладывается в рамки теории вероятности.

Как бы то ни было, одно я твердо понял: я — спикер, но не в том смысле, как в палате общин. Этого, конечно, было недостаточно, но это было уже кое-что — печка, как говорят в России, от которой надо танцевать. Насчет партсоборания я вообще не думал, это сравнение, по совести говоря, не казалось мне очень удачным, тем более, что я никогда не был членом партии. Правда, членом палаты общин я тоже не был, но что тут объяснять: палата общин — это палата общин, а партсоборание — это партсоборание.

Зал был отличный. И стол был отличный, не очень разнообразный, но в стиле, красивый по-своему: не считая крекеров, листиков салата и помидорчиков, все было от даров моря и океана — икра, черная и красная, белуга, осетрина, семга в перламутровых ломтиках, вековой деликатес еврейских местечек — селедочный фаршмак, заправленный уксусом и рубленным луком, тончайшие, как фламандские кружева, кружочки лимона, водка смирновская, шен-

ли, самовар-водка, и, конечно, чай, не тот липтон-чай, к которому надо приноживаться, чтобы учуять, что это действительно ароматный напиток, а не настой подсушенного сена, нет, настоящий чай, от которого трепещут ноздри, замирает в сладостном предчувствии сердце и тягучие медовые лучи пронизывают мир.

Увы, все это было не для меня: язва, которую я привез с собой из России, шпыняла меня всякий раз, едва я отступал, даже не отступал, а лишь помышлял об отступлении — о, пакость, рот мой, наполненный слюной, то пресной, как дистиллированная вода, то вязкой, соленой, как крутой селедочный рассол! — от жестоких ее установлений.

Что оставалось мне делать? Говорить, говорить, говорить, чтобы не было ни времени, ни сил для соблазна, для жадности, которая одолевает даже самых щедрых, даже самых немощных и больных, когда речь идет о даровых угощениях: на, бери, сколько хочешь, чего хочешь, и все это без труда, без пота, без отвратного змеиного языка совести, который только и ждет мгновения, чтобы отравить великую твою радость поглощения, превращения чужого тела, чужой плоти в твое тело, твою собственную плоть.

Очаровательная женщина с сухими, чуть западшими щеками Юдифи, усадила меня за стол и сказала: это стол на десять персон, здесь будете говорить. Кроме этого стола, в зале была еще дюжина других, половина из них со своими спикерами, но им было не до разговоров: они были здоровы и могли вести нормальный образ жизни, пить и есть, поскольку это был не тот случай, когда надо считать и озираться на соседей.

Произошло то, что должно было произойти: гости ели, я говорил, и люди от соседних столов понемножечку подсаживались к нам. Я говорил обо всем — о жене, о детях, о тещах и тестях, о живых и покойных, о евреях, которые, действительно, евреи и евреях, которым плевать на свое еврейство, хотя и те, и другие проходили там, в России, как пархатые жида, французы, маланцы, я также говорил, как хорошо здесь в Америке, есть синагоги, есть маца, есть еврейские книги, есть еврейские праздники, хочешь не хочешь, получай

оплаченный выходной, есть ХАЙАС и НАЙАНА, куда приходишь, как в родной дом, где все по-родственному, и любовь, и поцелуи, и скандалы с истериками, с криками, с полицией, которая, кого надо выдворит, кого надо уgomонит, словом, говорил о жизни так, чтобы самому было интересно и другие не соскучились.

Потом задавали вопросы, разные вопросы, но всякий раз возвращались к главному, королю вопросов: почему приехали сюда, в Америку, почему не туда, в Израиль? Как отвечает еврей? Еврей отвечает вопросом на вопрос. И я отвечал: а вы, почему здесь, почему не в Израиле? Мы отсюда, это наш дом, а если бы мы были не отсюда, мы поехали бы в Израиль. И опять: так почему вы здесь, почему не в Израиле?

Стюарт Харрис, адвокат, контора на Седьмой авеню, сказал: "Что вы пристали к человеку? Человек вам ответил, не нравится, ищите другого, кто вам понравится".

Стюарт сказал, я ему нравлюсь. Я сказал, он мне тоже нравится. Выпили по стопке — Стюарт похлопал меня по плечу: пей, последствия беру на себя — выпили по второй, Стюарт сказал: не волнуйся, у меня тоже язва. Я не волновался и не радовался, но теперь я был не один, теперь нас было двое.

Перед уходом Стюарт повторил: "Ты нравишься мне, приезжай в воскресенье, я живу недалеко, Ларчмонт. Приезжай с сыном. Сколько ему: семь? Поедешь поездом, сядешь на Гранд-Сентрал... — Стюарт задумался, — не надо поездом, поедем машиной, я приеду за тобой. Жди здесь, у Колумба".

Пожимая мне руку, Стюарт внезапно сообщил: мой дедушка был Горовиц, Ноте Горовиц из Одессы. Здесь он стал Харрис. Евреи Харрисы — все Горовицы.

Мы ждали у Колумба. Сын спросил: что ли, Колумб был еврей? "Да, сказал я, еврей из Генуи. А может, и не еврей, точно неизвестно". "Почему, спросил он, точно неизвестно?" "Потому что неизвестно", сказал я. "У евреев, что ли, спросил он, бывает так: точно неизвестно, еврей или нееврей?" "Бывает, сказал я, у неевреев тоже бывает: неизвестно, еврей они или нееврей".

"О! — сказал Стюарт, обводя рукой статую и меня с сыном, — площадь трех евреев, один уже открыл Америку, двое — открывают". "Что ли, спросил сын, вы точно знаете: Колумб был еврей?" "Точно, Стюарт указал пальцем на Колумба, знал только он. А может, и он не знал: у евреев бывает так, точно не знают, еврей они или нееврей. Поехали".

Дорога была недолгая. После Квинс-бульвара пошли одни коттеджи. Сын спросил: "Здесь все богатые живут?" "Богатые, переспросил Стюарт, что ты имеешь в виду?" "Пуэрториканцы, сказал сын, небогатые. В нашем доме живут пуэрториканцы". "Нет, сказал Стюарт, здесь не живут пуэрториканцы". Нажал акселератор, стрелка поползла к восьмидесяти, огромные белые щиты предостерегали: не выше пятидесяти пяти, дорога контролируется радарам.

"Стоп, сказал Стюарт, приехали". Мы остановились у синагоги. Сын спросил: "Вы живете в синагоге?" "Нет, покачал головой Стюарт, мы не живем в синагоге, в синагоге не живут. Зайдем, сказал Стюарт, мне надо зайти".

У дверей стоял ящик с черными и белыми кипами. Стюарт взял белую. Я спросил, в чем разница? Стюарт пожал плечами: разница в цвете, кипа есть кипа.

Синагога была новая, нарядная, как театр. Вдоль стен, выстроившись солдатским каре, горели электрические свечи. Кресла, крытые рубиновым плюшем, расходились веером от помоста к выходу. На помосте стояли мальчики, шеренгой, все в костюмах, галстуках и кипах, шитых золотом и серебром. Ребе продвигался вдоль шеренги и пожимал каждому руку. Когда подошла очередь седьмого, Стюарт наклонился ко мне и быстро прошептал: "Говард, мой сын!" Десятому ребе пожал руку двумя руками, в зале послышался легкий гул, Стюарт сказал: "Лоуренс, сын моей сестры, будущий Иегуда бен Галеви, пишет стихи на иврите".

Потом ребе взял Книгу книг, листая, называл страницы, и читал с закрытыми глазами. Люди вставали со своих рубиновых кресел, вторили ребе, садились, опять вставали, потом ребе закрыл Книгу, поманил пальцем женщину, она поднялась на помост, ребе представил ее, уважаемая Тамар Яарив, из

Беер-Шевы, учит наших детей языку Бога нашего и отцов наших, скажем ей спасибо. Люди ударили в ладони, Тамар Яарив взяла со стола папку, вынула пачку свидетельств, громко называла имена и вручала хозяевам, адресуя каждому поздравление по случаю успешного окончания синагогальной воскресной школы. Мальчики, пока стояли на помосте, были все серьезны, как и надлежит людям, достойным по возрасту и зрелости бар-мицвы, потом, однако, и те, что побольше ростом, уже под стать отцам, и те, что поменьше, бегом помчались вон из синагоги и, едва ступив за порог, раскидали по газону свои свидетельства и взялись тузить друг друга.

"Все! — сказал Стюарт, — поехали".

Дорога шла вдоль берега, на горизонте белели яхты со вздутыми, как крылья чаек, парусами. Огромные серые валуны громоздились у воды, перед валунами, через каждую сотню ярдов торчала надпись: частная собственность, купаться воспрещается.

Обогнув поляну — вековые сосны и кедры, с голыми на три четверти стволами, раскиданы в очаровательном, от руки художника, беспорядке, — Стюарт лихо подкатил к воротам, затормозил, бросил руки на баранку и сказал: "Вылезайте!" У порога ждала хозяйка.

"Присцилла, — сказала Присцилла, — жена лихого водителя". Стюарт согнулся в поклоне, помахал невидимой шляпой с плюмажем: "Муж жены лихого водителя".

Супруги поцеловались в щечку, хозяин пошел представлять меня гостям, хозяйка проводила сына на веранду, к детям.

Все гости были из здешнего общества. Естественно, я никого не знал, не только не знал, но и не слышал о них никогда прежде. Но странно, с первого же мгновения у меня было очень явственное, очень определенное ощущение: я их знаю, я их видел, я с ними разговаривал — где, когда, все это было, как в далеком сне, — но, повторяю, не было ни одного нового лица, все до единого были знакомы.

Я сказал об этом Стюарту, он хлопнул меня по плечу: "Чудак, где же ты найдешь еврея, которому можно показать еврея, которого он еще не видел!"

Я сидел в кресле, ко мне подходили, здоровались, спрашивали, как Америка, как Нью-Йорк, одни ожидали ответа, как будто надеялись услышать новость, не просто новость, а хорошую новость, другие тут же отходили, так что последние слова шли уже из-за спины, затем, оказавшись подле меня опять, повторяли свой вопрос: "Ну, как Америка, как Нью-Йорк?"

Я сказал Стюарту, пусть соберет всех до купы, я расскажу, что надо, сколько надо, ответу на вопросы, Стюарт сказал, это лишнее, здесь не партсобрание, не палата общин. Стюарт был прав. Я добавил: и не Объединенный Еврейский Призыв, во всяком случае, не его главная контора. Стюарт посмотрел на меня удивленно: "Что с тобой?" Я сказал, со мной ничего. Мне показалось, ему не нравится мое дополнение.

Присцилла сказала: "Пойдемте, я покажу вам свои работы". Работы были развешаны в гостиной, в холлах, в коридорчиках на первом и втором этажах. "Живопись, сказала она, — мое хобби". Картины были хороши, все, как одна: и акварель, и масло, и тушь. "Присцилла, сказал я, вы — талант! "Да", кивнула она, мне показалось, в глазах у нее грусть. "Присцилла, повторил я, вы талант, вы профессионал". "Нет, покачала она головой, профессионал — мой муж, у него контора, а я домохозяйка". Оказалось, кроме тринадцатилетнего Говарда, у нее еще трое детей, все сыновья: Майкл, Дэвид, Пол. Я засмеялся: "Если бы моя жена так рисовала, мы были бы Ротшильды". Присцилла тоже засмеялась, смех, как и глаза, был грустный: "Стюарт запрещает продавать мои картины, он говорит, я вся — собственность этого дома, я не могу ни прямо, ни через свои творения — она так и сказала: творения — быть частью чужого дома, чужой семьи. Я — это моя семья, а моя семья — это мои дети и мой муж Стюарт Харрис. У Стюарта Харриса, повторила она, кроме меня и детей, контора и клиенты".

У Присциллы были голубые, с прозеленью, с поволокой, глаза. Автопортрет, бесспорно, был лучшей ее работой: на портрете она чуть щурилась, в уголках губ застыла улыбка,

что-то от Джоконды, только поменьше двусмысленности. О как я ненавижу эту двусмысленность Монны Лизы!

"Присцилла! — нечто гулкое ударило меня изнутри в сердце, — это потрясающая работа. Это шедевр". "Я знаю, кивнула она, Стюарт не хочет, чтобы я показывала эту работу, но я сказала: нет, муж у меня один, но глаза не только у моего мужа. Пусть смотрят. Я хочу". Она засмеялась, гулкое опять ударило меня в сердце, подкосились ноги, во рту набежала слюна.

Пришел мой сын, пришел с жалобой: дети дразнят его. Он обращается к ним по-английски, а они притворяются, что не понимают и спрашивают: на каком языке ты говоришь, по-русски? Он обращается по-русски, чтобы показать разницу и тогда они спрашивают: а теперь на каком языке ты говоришь?

Присцилла позвала Говарда и сказала: "Говард, это наш гость, позаботься".

"Львиный зев", сказала Присцилла, моя последняя работа" Картина висела на втором этаже, в коридорчике. Много света, много свободного места, но, странно, было ощущение тесноты и темени. Может быть, из-за картины: густой черный бархат лепестков и ярко-малиновые, пунцовые по краям, зазоры между лепестками. "Присцилла, сказал я, это цветок?" "Цветок", улыбнулась Присцилла, лицо было то и улыбка была та, с портрета.

Я сказал: это не цветок, это женское лоно. Присцилла пожала плечами: кто как видит, художника нет, художник — это фикция, реальна только пара картина-зритель.

Присцилла взяла меня за руку: пойдете вниз, Стюарт не любит эту картину.

Стюарт ждал у лестницы. "Ну, воскликнул он, что Метрополитен по сравнению с нами! Старая свалка!" Я подтвердил: "Свалка".

Абстрактная живопись была вся в холле. Линия и цвет. Прямая линия и чистый цвет, без оттенков, комбинации сплошь из сочетаний и пропорций. И опять надо всем — черное и красное, стендалевская проза в прочтении двадцатого века.

"Одна техническая деталь, сказала Присцилла: когда я писала "Львиный зев", я пользовалась зеркалом, чтобы рассмотреть себя. Линию можно сохранить в памяти, но цвет надо иметь постоянно перед глазами. Прделаем опыт: запомните линию и цвет, любые, по выбору, и закройте глаза. Постарайтесь увидеть их мысленно, а теперь откройте глаза". Я открыл. Она права: линия та же, а цвет не тот, точнее тот, но яркость другая. Наверно, все дело в яркости.

Пришел Стюарт. Пришел с Анабеллой. "Познакомьтесь, сказала Присцилла, Анабелла Сапир, моя подруга. Профессор иудаистики. Остальное она расскажет сама". У Присциллы была та, с картины, улыбка.

"Присцилла, сказал Стюарт, в доме гости. Много гостей".

Анабелла взяла меня за руку: "Пойдем. Ты говоришь на идиш?" "Говорю". "Ты женат?" "Женат". "Водку пьешь?" "Пью". "Пошли пить водку". Пока пили, Анабелла сказала: "Я в разводе, живу с сыном, сыну десять. Хочешь посмотреть, как я живу? Не хочешь? Почему? Тебе неинтересно?" Я ожидал еще одного вопроса: боишься? Нет, вопроса не было. Она сказала: "Тебе нравится Присцилла? Молчи. Ты говорил ей, что она талант, что ее работы — шедевр. Все мужчины говорят ей это — все хотят ее. Если бы я была мужчиной, я бы тоже хотела. "Львиный зев" — отличная вещь. Но Стюарт прав: зачем показывать всем свои гениталии. Достаточно одного зеркала — для себя. Присцилла слушает мой курс: Отлучение Спинозы. Ты читал Спинозу? Не ври, я вижу: не читал. Ты верующий? Я так и думала: ты застенчив, застенчивые все немножко верят. Спинозу надо читать. Приходи ко мне, я дам тебе Спинозу. Спиноза верил, он был больше верующий, чем все эти торгоши из Амстердамской общины, которые предали его проклятью. Он отступил от них, чтобы быть ближе к Богу. Я родилась в Освенциме, мне было пять, когда мама привезла меня в Америку. Папу я не знала: папу сожгли".

"Извини, сказал я Анабелле, посмотрю, где сын". Анабелла сказала: "Нет, ни шагу, я хочу, чтобы ты сидел со мной". Через четверть часа я повторил: "Не могу, посмотрю, где

сын". Анабелла сощурила глаза, глаза были злые: "Ты эгоист, ты слишком любишь свою любовь". "Слушай, сказал я, мы не в Амстердамской синагоге — сам разберусь, где Бог, где ребе".

Я не ошибся: на веранде сына не было. Говард сказал: "Малыши играют на полянке, он там". На полянке его тоже не было. Я спросил одного, другого, третьего — никто не знал, никто не видел. Точнее, все видели: он был на веранде, потом играл на полянке, потом... О, Господи, я ведь чувствовал, предчувствовал, что добром не кончится!

Он сидел на берегу, среди камней, руки крест-накрест, ладони на плечах. Пока искал, я готов был убить его, за полчаса я десять раз прокручивал эту ленту — как я избиваю его, как он корчится весь от боли, как извивается, пытаюсь уклониться от удара, а я настигаю его и бью его, бью — а теперь я обнял его, он заплакал, прижался головой к животу и запричитал: "Я не виноват, папочка, все меня бросили, все смеялись надо мной, я ненавижу их, я не хочу к ним! Они чужие, они злые!"

Я вернулся к Анабелле. Подошла Присцилла, прижалась к Анабелле щекой и сказала: "Остерегайтесь сирен". Я спросил: "Кто сирена?" "Смотрите, сказала Анабелла, вытянула свои длинные ноги, задрала юбку выше колен, рыбий хвост, я сирена". Присцилла тихонько ахнула, глаза сделались совсем зеленые. "Я тоже умею пугаться, сказала Анабелла: страх перед самцом — песнь сирены". Она тихонько ахнула, открылись губы, зубы были стиснуты — грубая работа: губы были для поцелуя, зубы, чтобы кусать. Я сказал: "Пугаться перед самцом — редкий дар". Анабелла вздохнула: "Зачатые в страхе, страху не имуть", Присцилла поцеловала ее в щеку, взяла руку, положила себе на колено и прошлась ладонью. У меня мелькнула нехорошая мысль. "Нет, мотнула головой Анабелла, мы не лесбиянки". Положив руку мне на колено, она сказала: "Миссис Харрис, я пригласила вашего гостя к себе, он отказался; не сохранилось ли у вас, миссис, со времен вашего дедушки Шлоймы Мошковича какого-нибудь лассо". Присцилла улыбнулась, улыбка была та, с портрета: "Мой дедушка

не был ковбой, он не был даже скотовод, он был мясник, миссис Сапир, он имел дело с говядиной". "Говядина, сказала Анабелла, — это корова, которую мы кушаем".

"Продаю сюжет, — закричал с порога Стюарт — эмигрант, которого мы кушаем, или амазонки делят добычу". "В Африке, сказала Анабелла, есть хороший обычай: корову не убивают, а отрезают, сколько надо, с боков ее мяса, раны зашивают, а потом, по мере надобности, операцию повторяют". "Это жестоко, сказала Присцилла, когда у человека отрезают ногу, он знает, это ради жизни, когда у животного отрезают кусок тела, оно переживает весь ужас смерти. Сколько раз режут, столько раз умирает". "Не преувеличивайте, сказала Анабелла: умирает только в тот краткий миг, когда режут. А люди, больно не больно, все равно знают, что умрут. Я знаю со дня своего рождения".

"Так, сказал Стюарт, разговор о смерти, значит, кто-то кого-то хочет". "Гуд бай, Присцилла сделала ручкой, оставайтесь здесь, господа, кто-то, чего-то, кого-то!" "Стюарт, сказала Анабелла, нам третий не нужен".

"Слушай, Анабелла забрала в ладони мое лицо, идем ко мне!"

В голосе была не просьба, была команда, я не люблю команды. "Ну, не хочешь, и черт с тобой, не хоти!" Анабелла вжалась зубами, я почувствовал кровь на деснах, она забрала мое колено между ног, ноги были поразительно сильные, я сделал движение, чтобы освободить колено, но где там, было ощущение, что на колене моем отросли закрывки, и эти закрывки уперлись ей в подколенные чашечки.

"Профессор, окликнула с порога Присцилла, потерпите до вечера". "Иди, махнула рукой Анабелла, иди, завистница!" Анабелла отпустила меня, засмеялась, смех был не настоящий: хорошо, зашла Присцилла, а ведь могла быть и не Присцилла.

Стюарт сказал: "Поздравляю, ты покорила нашу профессору. У тебя могло сложиться превратное впечатление, но имей в виду, Анабелла не из этих..." Он покрутил пальцами в воздухе.

Анабелла сказала на идиш: "Ты эмигрант, мне больно. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Ты грустный, ты застенчивый". "Не выдумывай, сказал я, тебе больно, но мне не больно". "Ты брат мой, сказала она, ты кровь моя".

Странно, чувство родства было и у меня. Родства и вины. Анабелла сказала: "Ты слишком волнуешься о сыне. Подумай о себе. О себе тоже".

"Профессорша грустит, сказал Стюарт. Что ты с ней сделал? Анабелла, что он с тобой сделал?" "Отойди, сказала Анабелла, мы чумные". "Ну нет! Стюарт принял боксерскую стойку, правая чуть назад, для удара, меня не возьмешь".

Гости расходились. Анабелла сказала: "Я отвезу тебя". Стюарт предложил свой вариант: отвезет хозяин, а там — вольному воля. Я сказал: "Вариант Стюарта меня устраивает". Анабелла вырвала листок: "Вот мой телефон, звони, когда хочешь".

Стюарт пошел к машине. Присцилла протянула руку: "Приезжайте!" Глаза были круглые, зеленые, под веком веснушки, две-три крапинки, я хотел освободить руку, она сжала снова, ладонь в ладонь, пальцы скользнули, до запястья: "Приезжайте, обязательно".

Анабелла сказала: "Буду ждать. Звони!"

Ехали впятером: кроме гостей и хозяина, две его тетушки, очень старые, с сухими, по-птичьи ломкими пальцами. Сын спросил: "Почему они такие старые?" Я сказал: "Все вопросы — дома". Стюарт представил: "Тетя Рейчел, тетя Эстер, папины сестры". Тетя Рейчел спросила: "Ну, как Нью-Йорк?" Я сказал: "Прекрасный город". Тетя Эстер спросила: "Как Америка?" Я сказал: "Прекрасная страна". Тетушки кивали головами: прекрасная, а была еще лучше. Тетя Рейчел спросила: "Из какой вы губернии?" Я сказал: "Из Одессы, Херсонской, лет шестьдесят назад, губернии". "Ах, воскликнули тетушки, Одесса! Наш папа из Одессы". Сын спросил: "У вас есть папа?" Тетя Эстер положила руку ему на голову: "Мы были такие, как ты, ты будешь такой, как мы". Он удивился: "Такой старый?" "Дай Бог, сказали тетушки, дай Бог..."

Стюарт лихо затормозил, тетушки ахнули: "Разбойник, ему нужно два мешка костей!" Стюарт развел руками: "Откуда два?" — поцеловал тетю Рейчел, тетю Эстер, подвел к дому, угол Пятдесят девятой и Седьмой авеню, вышел швейцар, весь в галунах, сын спросил: "Дядя — генерал?" "Да, сказал я, генерал", тетушки обернулись, послали воздушный поцелуй, Стюарт сунул, рука в руку, "генералу" кредитку и пошел назад. "Хороши старушенции, сказал Стюарт, отец был в семье младший, на пятнадцать лет моложе".

Зеленый Симон Боливар на зеленом коне, взобравшись на гранитный куб, смотрел, не поворачивая головы, вдоль Пятдесят девятой. Гнедые кобылы, с султанами в гривах, лениво, в темпе восемнадцатого века, волокли золоченые кареты а ля Луи Каторз, на тротуаре бродяги, которые сами отреклись от отчего дома, жгли костры у мусорных урн.

"Да, Стюарт открыл багажник, чуть не забыл, тут твое". Он выволок на тротуар баул и пластиковую корзину: это для тебя, это для сына, сам разберешься. Я сказал: "Спасибо, спасибо за отличный день". "Привет дому. Ладно, мотнул головой Стюарт, давайте, шевалье, берите, а то на большой дороге..." Он не закончил, я сказал: "Нет". "Ты что?" — глаза у него сделались зеленые, круглые точь-в-точь, как у жены. "Нет", повторил я. Он ткнул ногой в баул, выхватил, наугад, пару штанов, рубашку: "Думаешь, старье? Да почти новое все, раз-два надеванное!" "Нет, сказал я, не надо". "Слушай, Стюарт открыл рот и так, с открытым ртом, губы не двигались, ронял слова: думаешь, жертва, да? А никакой жертвы, мне это просто не надо". "Ну, не надо, сказал я, и не надо". Смотри, сказал он, я сейчас это выброшу к ядерной матери". "Ну, и выбрасывай к ядерной матери". Он побледнел, завел правую ногу назад, для удара, люди проходили мимо, оглядывались, он ударил, баул отлетел на несколько шагов, вывалились штаны, рубашки, свитер. Я сказал; "Гуд бай, привет Присцилле, привет Анабелле, взял сына за руку и пошел — к Бродвею, где Колумб, где прямо с улицы эскалатор к станции "Площадь Колумба".

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*

ПОЭЗИЯ _____



Дмитрий БОБЫШЕВ

ЗИЯНИЯ

СПРЯМЛЕННЫЕ ПУТИ

"Поезд прибывает на вторую путь".
Из громкоговорителя

1.

Еще проверите, я верно говорю.
Пусть город наш чугунную зарю
стыдится окунать в пластмассовые лужи!
Когда-нибудь, когда не будет хуже,
мы слово исцелим словесностью от стужи
и ту же путь не пустим к букварю.

2.

Любую грамоту читающий с листа
Набоков, он же Сирин, неспроста

сказал про нашу речь — подросток захохотался.
Обидно, да, но есть у нас холуйство,
и кости в языке спрямляются до хруста
едва свобода освежит уста.

3.

Но я хочу ему напротив подчеркнуть,
что у письма есть храмовая суть,
и не в стилистико-медовых ароматах, —
скорей — в полумычаниях громадных,
где исказился честный лик грамматик,
и вся скривилась правильная путь.

4.

Хрусталик ока замутненный и хрусталь
родного говора врачует Даль.
В черновики времен! За ним — до Вавилона...
В семантику, до семенного лона
и далее, откуда стоном Время Оно
заносится в новейший календарь.

5.

И что же? Все путем! Не мальчики — мужи
впряглись уже в словарные гужи.
Распашем же, распишем лист ЕДИНЫМ СЛОВОМ.
Сперва — с заглавной, корень всем основам,
а после — с прописной, — и мир перебелован...
А наша речь отменна, не скажи!

Январь 1972

* * *

Как топор без топорща
медленно по звездам рыща,
выйдет месяц на ущерб
над гниющей деревней.
В тишине, без ударений
он навалит нежных щеп.

Без усилия, дремотно
даст он видимость ремонта,
полуночный доброхот, —
стешет преющую слегу,
вставит, вынув из высот,
в безобразную телегу
шкворень лунного стекла.

Боже! Сколько в мире зла,
залитого свежей ложью,
где бездействуют дела,
и откуда жизнь ушла
в города по бездорожью.

1967

ДОЛГОЕ ДЕЛО

Пространства голубой красивый куб
оно расквашивает пеной, плеском, блеском,
и хладной тяжестью цветущих водных клумб,
и всей великой кашею вселенской.

И, дряхлое, свисающих громад
еще подвигнет в ритм пресыщенные тонны...
С первооснов, с нуля верша великий град,
катает море мощные рулоны и колонны.

Волну кормя волной, себя в три брюха ест.
мычит и мучится... Строительное мясо!
Ему, текучему, неведом ни отвес,
ни ласка мастерка, ни строгость ватерпаса.

Но храмины архитектурный вздох
и все дыхание несметного прихода...
И замысел в веках... Как пышно он заглох
Как разрослась в нем дикая свобода!

1970

* * *

Посвящается

Тебя, тоскуя о твоей пропаже,
наставница ребячая, ничья,
не нахожу в промышленном пейзаже, —
и заживо мертвеет жизнь моя.

На фоне виадука и сарая
идешь ты, силой нежною дыша,
и тут я поражаюсь: вот какая,
оказывается, моя душа!

Ты на глазах творишь себя, как чудо,
и сходятся мгновенные черты
с чертами абсолютными - о т т у д а .
Я — за тобою. Но зачем здесь ты?

Чтоб укорить несовершенство края,
одною только зримостью греша?
Чтоб нагледелся я: вот ты какая,
оказывается, моя душа!

Бывают в этой сплошности прорывы
туда, где свет, — отсюда, где склады...
В мистическом едином теле живы
мы были бы. Но врозь ведут следы,

тебя от перекрестья отвлекая.
А мне бы все глядеть, как хороша,
и все не нагледеться мне, какая
моя и не моя уже душа.

*Сентябрь-октябрь 1972***МГНОВЕНИЯ**

1.

Ты, единственный, дымный, чадящий,
жизнь черкающий, как черновик,
ты, себя, уходя, не щадящий, —
вот мелькнул, вот запутался в чаще
из деревьев, троллейбусов, книг,
пульсов, роз, поцелуев, гвоздик...
Нет святей, нет больше и слаще,
нет — тебя, пропадающий миг.

2.

Хоть на полглотка — неполная
в полноте земного дня, —
вот какой тебя запомню я.
Ты запомнишь ли меня?
Иль в твоём текучем имени
кучей темного огня
все года мои, все дни мои,
жалкие, живые, дымные,
жаркие, спалят меня?

3.

Жизнь, мистический Грааль!
 Если в жарком закуте
 обретаемый рай
 гибнет ежесекундно,
 значит, время — цукута, —
 пей, цветы, умирай.

Этой низкой игрой,
 где никто нам не судьи,
 увлеклись мы с тобой,
 потому что до сути
 недалеко отсюда,
 шаг, — и вот она, стой!

Жизнь святая, цветы
 в грязной, в нежной работе,
 в чистом поте, в пути,
 в темном опыте плоти,
 в самом смертном полете
 умирай, но цветы!

4.

В куче листьев чернея, краснея,
 занимается темный огонь,
 и ползет ароматная вонь
 по какой-то фанерной аллее.
 На щитах — не портрет Лорелеи,
 но убитые дети двух войн.
 А живые — зверюшками — вой
 затевают, и лая, и бляя...
 И в режиме расчетливом тленья
 зимовать мы решились с тобой.

5.

Ты не забыла о дворцовой церкви,
 где отсвет люстры взяв за образец,
 по изразцу скользнув, к царям, бывало,
 входил нарядный Бог?

А помнишь ли фарфоровые лары,
 которые в плену жеманных поз,
 казалось, хрупкую предпочитали смерть
 застывшей глуповатости секунд
 остановившихся? Их позы — помнишь?

А мраморную бабочку в ладони
 и белизну врачующихся душ,
 и ангельское их предцелованье?

Еще бы... Как забыть! Ушло мгновенье,
 а нам уже за ним не промелькнуть.

И этот львенок с гобелена —
 случайности свидетель долговечный,
 и тот наружной лепки херувим —
 непреходящий соучастник мига.

Львиноголовая царица,
 Сын человеческий в кровавом крапе,
 распятый в глянцево-ночном окне.

Ты видишь, как опасно быть вдвоем!

6.

Научившись кой-чему из книг,
 обуздаем миг хотя б на миг.

Хочешь на четыре такта, как, —
 по-пейзански стрижен, бронзов, наг,
 вечен, — гренадер сдержал коня...

Или так — смотри скорей в меня...

Вот еще среди конных игр игра:
об руку рука, мотор и вьюга,
и с кавалерийского горба...

Миг... Прыжок сердечный... Крик испуга.

7.

Обломки льда лежат на льду же,
и полынья дымит от стужи,
становится все уже, уже
черно-прозрачная вода...

Что было тут?

Когда так целостность раздрана,
в пространстве временная рана
горит —
не утонул ли тут жених Авроры?

Пока невеста горевала,
состарилась и умерла, —
раз полтора ста оледеневала
река, — он, видно, не спешил судьбой
и дотянул до наших вот времен...

Форель ему навстречь стучала,
но чудо завершил другой поэт:
в созвездьи Рыб —
которая твоя форель играет?

Прозрачно-черная вода
становится все уже, уже,
и полынья дымит от стужи...
Обломки льда лежат на льду же,

и нерушимы души,

и неподвижны бывшие года.

8.

Тебе, королева мгновений,
купаний, касаний, красот роковых королева,
тебе посвящаются дымные страшные розы,
грозящие автора их пережить.
Пусть не слышно напева,
пусть истлеет строка —
лепесток полон нежной угрозы
пережить, перецвести даже бурно растущее древо...
Ритм уже отнесен монолиту молчанья.
Таает облаткой глюкозы
в тиши океанского зева
наша доля с тобой,
наша дикая доза свобод,
королева Мгновений, и Волн, и Цветов королева.

9.

Колосс родосский
и маяк александрийский,
железный столп индийский,
башня Пизы,
Герakлова неистовства следы,
к ним — тусклая улыбка Монны Лизы
и в облаках цветущие сады
Семирамиды,
и пирамиды,
и невозможность у мгновенья
дленья,
и ускользящее божество,
и ужас повторенного мгновенья,
и двух сердец внезапное навек родство...
Сердец кроваво-темное биенье.



Михаил КРЕПС

ПРУЖИННЫЕ ЛЮДИ

1 МАЯ

Опять шалит вестибулярный аппарат,
Опять шаги и бляхи весело горят,
И флаги пляшут словно фляги у костра,
И клянчит кашу пятилетняя сестра.

Машина времени, ах, не спеши, повремени,
Дозволь пожить, попить, передохнуть и подтянуть ремни!
Машина времени, а ну их к черту всех!
Поднимем тост за временный, а все-таки успех!..

Пробить лбом форточку? — Там, как всегда, парад.
Упрятать в кофточку вестибулярный аппарат?
Махнуть с Любашкой и Иришкой в Магадан?
Напиться с Малышевым Гришкой вдрабадан?
Наденем снова всепогодный маскхалат.
Поднимем тост за всенародный маскарад.

ПРУЖИННЫЕ ЛЮДИ

* * *

В основном мы живем для того, чтобы время убить,
Чуть свободу пригубить и тут же ее пригубить,
Поселиться в мечте, где нет друга, но нет и врага,
Подивиться на те, незнакомые нам берега.

Мы не рвемся к свободе, не жаждем года наверстать,
Лишь по берегу бродим, безликим улиткам подстать,
Ну, а если и нас захлестнет ненароком прибой,
Поплывем по теченью, все также любуясь собой.

* * *

1. Что позволено Юпитеру —
не позволено быку.

2. Юпитер, Ты сердисься —
значит ты не прав.

За холодный глоток Невы,
За луны дребезжащий лик,
За хрусталь Твоей синевы,
За простор Твоих базилик,

Мне забыть своего врага?
Мне навек язык проглотить?
Боевые мои рога
На дурацкий колпак сменить?

Ветер воли опять вернуть
На постылые круги своя?
За похлебку — себя распнуть?
Это ль, мудрый, кара Твоя?

Этот пласт чужой мостовой,
Этот вздрог ледяных ночей,

Потому лишь, что я — не Твой?
Потому лишь, что я — ничей?

В чем же смысл Твоей вышины,
Если снова враги хлебнут
Той колодезной тишины,
Что забвеньем люди зовут?

ПРУЖИННЫЕ ЛЮДИ

Пружинные люди двадцатого века
Чугунно-стального литья,
Похожие телом на толстых креветок,
И энтузиасты бритья,

Сражайтесь друг с другом
И войны ведите
Дотла, до победы, всерьез,
У жадных вождей вдохновенье крадите,
И славьте любовь, как курьез.

По зимам и летам курьерским и скорым
Прохрустнет десяткою жизнь,
Но будешь и ты вовлечен в этот сговор
Угрозою слова: Дрожи!

Дрожи! Проскрежещут разбитые рельсы
Чугунной губою про нас:
Пружинные люди, друг в друга прицельтесь,
Пришел ваш решающий час.

Дрожи! Но стреляй, чтоб не дрогнуло веко,
От страха не хрустнул зрачок...
Пружинные люди двадцатого века,
Довольные бритостью щек.

* * *

Ведь даже кузнечики — красные пасынки луга —
Упрятали лица в косматые травяные щели,
Корытом во двор опрокинулась мятная Луга,
И тряпка пространства висит на веревке без цели.

Здесь скована жизнь звонкой цепью капризных событий,
И псы оглушают утра жизнерадостным лаем,
Калитка с коровой беседует мирно о быте,
И некому выпить с заросшим до скул Менелаем.

Стрельчатая изба и дождя частокोल перламутров,
И память о старой беде заросла лопухами,
Колотится в окна зеленое бойкое утро
И легкие мысли как в детстве встают с петухами.

До полдня сбивать лопухи пронизательной шпагой,
Стругать золотым топором на лучины полено,
И к вечной стезе приближаться немеющим шагом,
От губ отгоняя забытое имя — Елена.

* * *

Мой двойник — тревожное, больное
Сердце, не запасливое впрок,
Неземного тонкого покроя,
Маленький запуганный зверек.

Хорошо зверьку в привычной клетке,
Каждый прут — свидетель жизни всей,
Только вот охотник очень меткий
К нам идет из сумрака степей.

Ну, а мы у моря ждем погоду,
Любим, дышим, хлеб жуем — живем —
Знаем, что из клетки на свободу
Все равно не вырваться живьем.

РЕМБРАНДТ

Прогорклое утро и скрежет суставчатых трав,
И пыльное солнце на жесткой слюде небосвода —
Все это кричало: Сожги корабли и, упав
В колодец пространства, забудь о предательствах года.

Я сжег корабли, я развеял по ветру мечту,
Я время взорвал, я разрушил воздушные замки,
Я с корнями вырван, я — вне, я лечу в пустоту,
Лишь щелкает мысль, наподобие лейденской банки.

О, Лейден, мой Лейден, будь проклят твой розовый Рейн,
Рейнвейнским залю и закушаю булкой венской
Дыханье твое, твою лесть и мельканье колен
Твоих площадных королей и пророков вселенских.

Я мощен еще, я злораден, я весел, я жив,
Пусть выцвел зрачок и потрескалась скрипка гортани,
Я тем отомщу тебе, Лейден, что, рук не сложив,
Умру не в тебе, а в заплеванном жизнью квартале.

Но Лейден, в котором мальчишкой ловил стрекозу.
Где взваливал первой любви непосильное бремя.
Приди и былинкой, пылинкой, соринкой в глазу
Постой хоть немного со мной и посетуй на время.

СНЕГУРОЧКА

Надоело глотать сумасшедшие майские ливни,
Надоело кружиться в обманчивом вихре весны,
Сны становятся глуше, отрывочнее и прерывней,
И несет уже утро настойчивый окрик: Проснись!

Пробуждаются ломкие звуки и хрупкие краски
Городского рассвета и ломаются в двери домов,
Окна слушают утро, как дети волшебную сказку,
Загораясь несложной интригой старинных томов.

И на смену магической, влажной, ночной благодати
Канонадой врывается бешеный башенный бой,
И седой инвалид — оловянный безногий солдатик,
С неразумной стихией опять выступает на бой.

Бродит грустный Пьеро, чуть метелкой асфальта касаясь
Переулки, трамваи и птицы поют в унисон,
Электрички везут многочисленных спящих красавиц,
И колеса стучат: то не сон, то не сон, то не сон!

А когда ветер мчится по улицам, как по траншеям,
То в басовом играя зарю, то в скрипичном ключе,
Тянет броситься первому встречному парку на шею
И, рыдая, растаять на теплом, зеленом плече.

СТАРЫЙ ДОМ

Мой старый дом, мой зыбкий одуванчик,
Мой, пущенный по ветру давних дней.
Вон там плывет, ссутулившись, диванчик
Под парусами белых простыней,

Там этажерка притулилась кротко,
Вон старый шкаф — пристанище одежд.
Уплыли в вечность голубые лодки
Моих давно несбывшихся надежд.

Но приплывают вещи в лунном свете
Ко мне, и в позабытый мир маня,
С комода детство плюшевым медведем
Так трогательно смотрит на меня.

Мой старый дом! воздушный мой корабль,
На стройных мачтах паруса мечты,
Прорвав заслон пространственных парабол,
В иную жизнь ко мне приходишь ты.

Скрипит от ветра, надрываясь рама,
Ах, рама, тише, рама, не долдонь!
Склонившись надо мной, живая мама
Кладет на лоб мне теплую ладонь.

И я живу, преодолев разлуку,
И время не торопит, время ждет,
И дом мне подает сухую руку,
По коридорам памяти ведет

В каюты дней, без карты, наудачу.
Мне близок, дом, твоих кают уют,
Я только в них так безнадежно плачу,
Я только в них так счастливо смеюсь.

Мой милый непоседа, мой гуляка!
Не уходи, останься до утра!
Но старый дом уж поднимает якорь,
Но старый дом мне говорит: Пора!

И я смотрю на дом (уже снаружи),
В окошках гаснет абажурный свет...
Темно... Не спится... Дом давно разрушен.
И детства нет. И мамы тоже нет.

В ДОРОГЕ

К платформе пыльной подан поезд,
К нему бегут наперерез,
Локтят, толкают, рвут за пояс,
Неся багаж наперевес.

Детей воткнув в людскую дамбу,
Кричат истошно "матеря",
Мешки пропихивая в тамбур,
Тишком соседней матеря.

Но дан свисток, и поезд вздрогнул,
Поплыли прочь щиты реклам,
Вдоль по лицу скользит подробно
Чужой обшарпанный "реглан".

Вот замелькали дачки, горки,
Пеленки, лозунги, свинья,
На оплешивевшем пригорке
Блестит полыни полынья.

Вот ферма, скот, поля люцерны,
Вот, скуку наводя окрест,
Звезду провинциальной сцены
Встречает жиденский оркестр.

Мелькают дети, псы, телеги,
А даль туманна и мутна,
Как облако в сутулом небе
Полуоткрытого окна.

В пути одолевает скука,
Чужих рассказов винегрет,
И ноздри ранит запах лука,
И в ухо чавкает сосед,

Все краски, расплываясь, тают,
И тяжелеет голова,
И к сонной мысли прилипают
Чужие, вязкие слова.

Но вот случится остановка,
И дернет корпусом вагон,

И толкотня и крики ловко
Прогонят набежавший сон.

* * *

Как легко и простодушно лето!
Захочу и воздух всполошу.
Могут только маги и поэты
Слово раскрывать, как парашют.

А слова не плачут, не пророчат,
От обид и ласк не голосят,
Лишь сквозь черную решетку ночи
Гласные сверкают, как глаза;

И по всей сиреновой России,
Где от тайн кружится голова,
Ждущие поэта, как мессию,
Бродят терпеливые слова.

Может, и мое, темно и гулко,
Запахнув худое пальтецо,
Ждет меня в соседнем переулке,
Золотое выпростав кольцо.



Ари ВОЛОХОНСКИЙ

ВЗОРЫ НЕЖД

Когда Саладин с войском покидал Каир
Народ взошел прощаться с площадей
И лица обращенные к вождю
Застыли в ожидании
Усеяв минареты и столпы,
Как суфий вдруг сквозь грязный шелк толпы
Пред голубой металл воинственных одежд
Возник — и крикнул весь в тоске своей глубокой:
— Наслаждайся взором волоокой Нежд
Наутро не увидишь волоокой.

*

И Саладин стремительно ушел навстречу им.
Тогда еще не дрогнул алый Лузиньянов стан
И тамплиеры пьяные от жажды держали строй
Иль правя вероломного Рейнальда головой
Ходили морем грабить двери Джидды

Как жук тонконогий пустынный вою: о Небо, куда мне
 И где мне когда же ты явишь мне прежде обещанный мне
 призрак надежд?

Но слышу лишь мертвого суфия
 голос гортанный и странно высокий:
 — Наслаждайся взором волоокой Нежд.

Арава- Тивериада. 1979.

Суфий — мусульманский мистик. Среди них всегда было много поэтов. По большей части народ нищий. История с Суфием и его стихи известны из хроник.

Ги де Лузиньян, Рейнальд, Раймонд — король и два графа. При Хеттских Рогах Саладин уничтожил королевское войско и вскоре взял Иерусалим. Форт Раймонда — Тивериада.

Азраил — ангел смерти у арабов-магометан.

Ассасины — шиитская секта, члены которой убивали своих врагов, действуя в одиночку. Много курили гашиш, откуда их название.

ЛЕВ ЛАРСКИЙ
МЕМУАРЫ
РОТНОГО ПРИДУРКА
 (иллюстрации и оформление автора)

ВЫШЛА ОТДЕЛЬНОЙ КНИГОЙ
 (дополненное издание)

КНИГА В ПЯТИ ЧАСТЯХ

1. ВЗВЕЙТЕСЬ, КАСТРАТЫ
2. СОЛДАТСКАЯ СОВЕСТЬ
3. САПЕРНАЯ ОДИССЕЯ
4. БОЕЦ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
5. БЛЕДНАЯ СПИРОХЕТА —
 ОРУЖИЕ ВРАГА

Цена в Израиле — 78 лир, за границей — 4. 50 доллара
 (в цену входит стоимость доставки и НДС).

Заказы и чеки высылать по адресу: Тель-Авив, Цунц 3/29
 Ларскому.

Str. ZUNZ 3/29



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

БРЕМЯ СВОБОДЫ

*Выступление в Колумбийском Университете
25 апреля 1979 года.*

В своем прошлом выступлении здесь, в Колумбийском университете, я говорил об общей судьбе третьей эмиграции. Мой прогноз был оптимистичен — тоталитарный режим сам формирует людей, которые, борясь за биологическое выживание, обретают черты, помогающие им выстоять в Америке.

Сегодня речь идет о потерпевших крушение. Я бы хотел пойти дальше и коснуться тех, кто, вымаливая себе право вернуться в Россию, обивают пороги советского посольства.

От их трагического опыта можно отмахнуться. Можно даже представить их психически ненормальными. Но, во-первых, этих "ненормальных" не так уж мало — по одним сведениям несколько сотен, по другим — даже более тысячи. А, во-вторых, и это куда важнее: их печальная судьба — это тоже грань эмиграции и, как всякая предельная ситуация, она высвечивает многое, что скрыто от наших глаз.

Многие из нас помнят довоенные годы, когда иные, разочарованные Западом романтики, устремились в Советский Союз.

Их иллюзии, проистекающие из незнания сталинского режима, легко поддаются объяснению. Но как понять тех, кто, отдав сполна "советский архипелаг", рвется обратно, из мира свободы в застенки "архипелага"?

Я бы не стал акцентировать внимание на этом, все-таки сравнительно небольшом проценте неудачников, если бы не подозревал, что за их спиной стоят тысячи других, хотя и не готовых пойти на этот самоубийственный шаг, но ощущающих себя столь же несчастными и раздавленными в свободной демократической Америке. Мне даже трудно ответить на вопрос: что выглядит более печальным — стремление вернуться обратно, в рабство, или переживаемые некоторыми эмигрантами страдания, ведущие к депрессиям, паранойе, иной раз, к полному распаду личности.

Не о чем ином, как о таком распаде, свидетельствует опубликованный в парижском журнале "Ковчег" роман, рассказывающий, как вытекает из анонса редакции*, о судьбе эмигранта "третьей волны", о его попытках вырваться из эмигрантской среды, пробиться к почве новой страны — Америки. На самом же деле ничего подобного в романе нет. Перед нами просто опустившийся человек, который, изгилаясь в порнографии и полутроцкистских бреднях, в ненависти к России и к Западу, пытается предстать в ореоле Личности. Но ему ничто не помогает — ни совокупление с негром, ни братание с террористами. В общепризнанном, цивилизованном смысле человека уже нет, а есть лишь продукт его распада, моральный обрубок, торчащий из чрева Нью-Йорка. И истошно кричащий: "Я Личность! Я Личность! Я Личность!"

И все они — и те, кто рвутся на свою "социалистическую родину", и те, кто, одурманенные марихуаной, подобно автору указанного "романа", наслаждаются собственными трупными запахами, и те, кто респектабельно паразитируют на "велфейре" — все они дружно ненавидят Америку и тоскуют по России. Впрочем, не будем так уж, наотмашь, изничтожать этих людей. Если не принято бить лежачего, то это тем более

* Этот анонс, следуя демократической традиции, опубликовал и журнал "Время и мы".

относится к падшим. И если не из гуманных побуждений, то хоть для приближения к истине попробуем понять причины их падения, а заодно и разобраться в трагических метаморфозах эмиграции.

Не знаю, являлся ли этот "писатель" диссидентом, но, будучи, как он сам пишет, модным поэтом, наверняка обличал советский режим и КГБ. И, думаю, требовал свободы выезда. Как требовала того же Мария Карповна Давидович — она привезла в Израиль гроб с телом своего мужа, прославленного еврейского активиста полковника Давидовича, а сегодня, вернувшись на свою "социалистическую родину", гневно обличает сионизм в газете "Советская Белоруссия".

Я взял два первых пришедших на ум примера, чтобы показать, во что иногда выливается наше романтическое прошлое. В конце концов, все мы его пережили — и те, что оказались на дне жизни, и те, что на ее гребне. Все мы, стоило нам переступить порог ОВИРа, автоматически превращались в борцов за свободу. Газеты не жалели красок, чтобы воздать должное этой борьбе. Даже тогда, когда она была лишь покорным ожиданием визы. Газеты писали о влиянии эмиграции на режим даже тогда, когда режим попросту торговал душами эмигрантов. Они писали о ее влиянии на демократию, на свободу, на мировоззрение Запада, но как-то обойден был стороной вопрос: что происходило с нами самими. Не здесь, а там, откуда начался наш столь же счастливый, сколь и печальный исход. Здесь, в Америке, мы пожинаем лишь результаты, необратимые результаты прошлого, и пишем статьи о том, кто и почему плохо устроился и как устроиться лучше.

Но ведь все начиналось там, в недрах советского строя. Там начинался процесс, плоды которого мы пожинаем сегодня.

Я бы не хотел свести ход своих рассуждений к тривиальной истине: что-де тоталитарный режим формирует неполноценный тип человека, как теперь его называют, "гомо советикус". Мысль эта, верная в своей основе, не дает, однако, ответ на вопрос: почему именно здесь, наряду с успехом и возвышением одних, а таких становится все больше, — происхо-

дит надлом и падение других. И тут мы подходим к очень существенному, хотя и не всегда видимому отличию тоталитарного общества от свободного. Отличию, которое, может быть, объясняет, отчего эмиграция становится таким мощным катализатором крушения вчера еще вполне благополучных советских людей.

Верно, что советский строй лишает человека свободы. Человек в нем не более, чем средство для достижения идеологических задач. Но верно и то, что, лишая человека свободы, обольщая его, воздействуя на него в нужном направлении, режим не может не принять на себя ответственности за его существование — для того хотя бы, чтобы он верой и правдой служил целям режима.

Тоталитаризму не нужны свободомыслящие писатели, но равно ему не нужны наркоманы и гомосексуалисты. Идеально выстроенная гигантская пирамида-тюрьма, где у каждого есть право на камеру-ячейку, и упаси вас Бог высунуться, нарушить гармонию пирамиды. Режиму равно не нужны ни Солженицины, ни певцы порнографии, сбивающие советских людей с их прямого пути, гениально начертанного партией пути к "светлому будущему".

Ну, а что же свободный мир? Может быть, его решающее преимущество именно в том, что в нем нет "порядка" и "гармонии". Он не выравнивает людей, не дозирует свободу — свобода даруется всем, каждая тварь поет хвалу Господу. Но именно на этой буйно возрастающей ниве, среди этого "хаоса" и "беспорядка" только и могут появляться Чарли Чаплины и Эйнштейны, точнее, тут есть максимум шансов для их появления — драгоценнейших знаков на безбрежных полях плевела.

Недавно я шел с одним старым московским другом, только приехавшим в Америку, по 42-й улице, и он в сердцах возмущался: "Взгляни, это же сумасшедший дом: преступники, наркоманы, полулюди... всех бы перестрелять!" 42-я — это сгусток, дно, есть и иные места в Нью-Йорке. Но как объяснить ему, что, в принципе, иным не может быть этот мир: свободное общество платит по векселям за свое существование!

Всем даны равные шансы — неграм, пуэрториканцам, эмигрантам — пусть каждый пробивается сквозь "джунгли свободы"! Вот ведь в каком странном мире мы оказались, вырвавшись из "правильной жизни", из идеально-тюремного распорядка.

Нам кажется, что, уйдя в эмиграцию, мы покинули эту тюрьму, — увы, это только иллюзия — тюрьма внутри нас, в наших нравах, в наших амбициях и претензиях, которые там по указанным выше причинам мы были вправе предъявлять. И по инерции мы предъявляем их здесь — в мире, где нам даны только шансы, шансы — и никаких гарантий. Претензии к Сохнуту, к НАИАНе, к газете "Новое Русское Слово", к американскому правительству. Словно от ВЦСПС или обкома партии требуем, чтобы устроили, чтобы дали работу — дали то, что нам было положено в условиях "справедливой" тоталитарной гармонии. И когда наталкиваемся на стену непонимания — я не ошибся, именно непонимания, — обескураженные, преисполняемся возмущением, впадаем, простите, в ностальгическую паранойю.

Какая поразительная, абсурдная ситуация! Перед нами Америка, мир несметных богатств, рожденных технологической цивилизацией, и нам дана возможность проникнуть в него и, может быть, даже завоевать его, но мы страшимся этой борьбы и тоскуем, тоскуем по положенной нам советской пайке. И изливаем друг другу душу в своих эмигрантских компаниях. "Там я был человек, старший инженер по БРИЗу, квартиру райисполком предоставил, путевку два раза в год давали, а здесь?" "Там я был актером первой категории, такие площадки предоставляли! Посылали за границу, сам Апостолов из культотдела ЦК на машине подвозил, а здесь?" "Там я был поэт, четыре сборника в Гослите издали, народ на руках носил, а здесь?"

Здесь все мы у нулевого цикла, наедине с жестокой альтернативой: или, используя свой шанс, карабкайся вверх, грызи зубами, или... катись под откос и оттуда, со дна, уничиженно моли, чтобы пустили обратно в Россию, в тюрьму, или, подоб-

но персонажу упомянутого "романа", задыхаясь, в ужасе и отчаянии кричи: "Я еще не распался, я еще жив, смотрите — это Я!"

Советские газеты упорно твердят, что человек, воспитанный при социализме, обречен на муки в условиях капиталистического рабства, он не может вынести бремени этого рабства. На самом же деле — и в этом зловещий парадокс — не рабство, а свобода обрекает на муки советского неопита в Америке. И бремя свободы оказывается самой тяжелой проблемой его жизни.

Так неужели положение столь безнадежно? А как же те, кто, карабкаясь и борясь, вырываются наверх? Чтобы ответить на этот вопрос, ответим вначале на другой: неужто ни малейших ценностей мы не вывезли из нашего прошлого, а если вывезли, то какие из них признает Америка? Я думаю, что Америка признает все, что человеку дано от природы — ум, талант, инициативу, волю, — все, что сделало Америку Америкой. И что уже сегодня приносит успех тем, кто прорвался сквозь "джунгли свободы". Есть особая причина, по которой мы обязаны воздать им должное. Их судьба — и обвинение, и пример слабым и падшим, тоскующим по тюрьме и стонущим под бременем свободы. Но свидетельствуют они — все в руках человека, в ваших руках, и тогда, когда вы это поймете, может быть, в муках поймете, — избавившись от самих себя, — бремя свободы превратится для вас в великое благо.



Михаил АКСЕНОВ МЕЕРСОН

ЕВРЕЙСКИЙ ИСХОД В РОССИЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

В конце прошлого века из России эмигрировало около полутора миллионов евреев, и не будет преувеличением сказать, что российское общество этого почти не заметило. Еврейство было изолированной национальной и религиозной группой, отделенной чертой оседлости, прозябающей на задворках огромной почвенной страны. Его соприкосновение с русским населением и влияние на него было ничтожно. Да и эмигрировали именно те, кто не имел положения в русском обществе и не надеялся его приобрести.

Иной характер имеет нынешняя эмиграция, которая превратилась в "общесоюзное" движение благодаря совершенно иному положению советского еврейства.

В советский период, когда Россия, разрывая со своими вековыми корнями, перестраивает свою империю на индустриальных началах и на новой идеологии коммунистического интернационализма, когда космополитический город заменяет этническое по своей природе село, и происходит распад местечек — евреи, превращаясь в ассимилированных горожан,

становятся новой трансимперской силой, несущей русизацию во все концы советской империи.

Хотя уже с начала революции обозначился неразрешимый антагонизм между национально-автономной или сионистской тенденциями с одной стороны и советским режимом с другой, для коммунистически ориентированного еврейства открылись двери в партийную олигархию и оттуда в верхние этажи парткратического государства. Правда, вход этот был оплачен ценою отказа от религиозного, этического и гуманитарного наследия еврейства на пути растворения в русском коммунизме.

Только растворившись в русской стихии, принявшей на себя в советском строе интернациональные задачи, евреи преодолевали национальную ограниченность и приобщались к универсализму. Потому русская ассимиляция еврейства делала его незаменимой силой, преодолевающей национальные барьеры, связующим составом многонационального государства. По мере своего отхода от еврейства, по мере этой ассимиляции евреи становились инструментом русского доминирования в советской империи.

Однако советский интернационализм оказался обманчив и еврейская роль в строительстве великой империи терпелась лишь до тех пор, пока государство было полностью уверено, что еврейство находится под его полным контролем.

Разгром остатков еврейской культуры в последние годы жизни Сталина не случайно совпал с непомерным разрастанием империи. Хотя в старческом пароксизме своего давнего антисемитизма Сталин, как считают, и планировал всесоюзный погром с высылкой евреев в Биробиджан, это не противоречит тому, что советская империя нуждалась в ассимилированном еврействе. Не случайно сталинский антисемитизм вылился в форму погрома вскоре после образования Израиля.

Израиль отказался быть советской марионеткой на Ближнем Востоке, но зато прорывом сионистского энтузиазма у советских евреев сразу же указал Сталину на грядущую опасность для его империи. Он прозорливо испугался еврейского

возрождения и обращения к сионизму второго поколения советизированного еврейства и поспешил занести над ним свой имперский топор. Это был его метод мести за еще несовершенный побег. По счастью, это прозрение совпало с его смертельной агонией.

Однако государственный погром 48—53 годов продемонстрировал советскому еврейству, что его положение как национальной общности бесперспективно и даже при его искренней лояльности далеко не безопасно. С образованием Израиля страх сионизма и подозрение к евреям стало навязчивой фобией советского государства.

Смягчение этой фобии при Хрущеве, вместе с реабилитацией политзаключенных и либеральными веяниями, могло быть лишь временным и случайным, и объяснялось оно не столько изменениями самой системы, сколько яркой индивидуальностью нового правителя, пришедшего к власти на отрицании своего предшественника. Вероятно, поэтому ни в пятидесятых, ни в начале шестидесятых годов сионизм еще не приобрел притягательной силы.

Выезд из СССР казался невысказанным, хрущевские реформы обещали и несли улучшения. Вплоть до разгрома Пражской весны была еще жива среди интеллигенции надежда на либерализацию. Западное, в особенности американское еврейство и социалистический Израиль были исполнены коммунистических симпатий, многое прощали Советскому Союзу за разгром Гитлера. Политические круги на Западе были тронуты хрущевской антисталинской исповедью и, в надежде на конвергенцию, не были настроены начинать дипломатическую войну за извлечение советских евреев.

Начавшиеся с августа 1968 года отдельные выезды литовских евреев в Израиль воспринимались как исключения. За десятилетия до этого лишь несколькими сотням советских евреев удалось добиться эмиграционной визы. Однако этот выезд отдельных семей и лиц, начавшийся осенью 1968 года, совпал с другими событиями. То был год Пражской весны, студенческих волнений в Польше, возникновения правоза-

щитного движения в СССР, в частности, его оформления в самиздатской "Хронике текущих событий".

Исторический успех еврейской эмиграции не случайно совпал с возникновением русского демократического движения, которое прежде всего требовало от режима соблюдения советского законодательства и конституции.

Сионистское движение встало на ту же правозащитную почву. Однако апелляции еврейства к своему праву на воссоединение с родственниками было недостаточно, если бы оно не получило поддержки из-за границы. Будь перед нами одно из многих национальных движений, оно было бы задушено с еще большей легкостью, чем движение другого народа, имеющего какую-то базу для национальной оппозиции вроде собственной территории, языка, школы и остатков национальной культуры. Вспомним хотя бы движение крымских татар, начавшееся гораздо раньше, но не приведшее ни к каким значительным результатам.

Исход получил постоянный и недостижимый для режима источник поддержки и воодушевления: еврейское государство и международное еврейство. То, что именно это стало решающим фактором эмиграции, доказывают неоднократные попытки режима прекратить ее под разными предлогами и разными методами: арестами инициаторов, разгоном собраний, семинаров и демонстраций, бесчисленностью бюрократических проволочек и унижительных процедур для отъезжающих, обложением их непомерными налогами и т.д. Перед лицом международного общественного мнения и еврейской солидарности советская политическая система впервые обнаружила неспособность задушить оппозиционное движение.

Так Исход становится небывалым прецедентом, нарушающим основу тоталитарного общества — его полную герметичность, неизбежно вдохновляющим и другие религиозные и национальные группы.

Из трансимперской силы и столпов империи евреи превращаются в ее разрушителей. Миграция населения, плодотвор-

ная для демократического общества, противопоставлена обществу тоталитарному. Потому сам феномен Исхода не может не питать страхи и фобии режима, которые со временем лишь становятся более навязчивыми. В тотально запрограммированном обществе евреи, благодаря сионизму, оказались спонтанной и неподконтрольной, а потому единственно инициативной силой.

Очевидно, что режим, несмотря на наличие государственно-го антисемитизма и сильной националистической тенденции в верхах, не желает выпускать евреев. Он не хочет терять специалистов, необходимых советской экономике, и без того переживающей перманентный кризис.

Единственный путь остановить эмиграцию евреев — это фактически уравнивать их в правах с другими группами населения, но этого, по разным причинам, не желают ни режим, ни сами евреи: режим, в силу своего имманентного антисемитизма, евреи же потому, что сам Исход оказывается единственным прорывом права в обществе, в котором царит полное бесправие. Парадокс Исхода заключается в том, что, начавшись, он вышел из-под контроля лиц и институций. Уже ни та, ни другая сторона не могут его остановить.

Однако будучи не в силах прекратить Исход, режим пытается манипулировать им как внутри страны, стремясь управлять им и изолировать его от всех других форм оппозиции, так и во внешней политике, используя эмиграцию евреев в качестве разменной монеты на международном политическом рынке.

Но это лишь свидетельствует о том, что эмиграция евреев становится постоянным фактором советской жизни. Именно так воспринимается она и самим советским руководством. Смирившись перед неизбежностью "выпускать евреев", режим своей эмиграционной политикой, выталкивающей одних, более известных и активных, и запугивающей других, растягивающей Исход на долгий срок (чтобы вырастить "национальные кадры" на место уезжающих), и ищущей за это компенсаций на международной арене, как бы адаптирует Исход

к советским условиям, старается приспособить это "выпадающее" из системы явление к ее законам.

Каково же влияние Исхода на разные стороны советской жизни?

* * *

Прежде всего влияет сам голый факт эмиграции: массовый отъезд за границу советских граждан. Если учесть, что десятилетиями общество привыкло жить в паническом ужасе перед заграницей, в идеологическом страхе перед "капиталистическим окружением", то можно представить, какую революцию в сознании советского человека производит отъезд в эту самую "заграницу" его вчерашнего соседа. Если раньше "заграница" была мифологической реальностью, населенной мифическими врагами, то эмиграция становится своего рода обживанием, осваиванием заграницы советским человеком. "Заграница" заселяется своими людьми, теряя при этом характеристику чуждости и враждебности.

Сама подготовка к отъезду вызывает целый комплекс поведения, новый для всего уклада советской жизни. Отъезжающий храбреет, вся его жизнь поставлена на карту: "подавший документы" уже неблагонадежен для системы, отныне все пути в обществе для него закрыты, ему остается бороться до конца, то есть до посадки на самолет в международном аэропорту. Потому из тихого, скромного, незаметного советского еврея он как бы по волшебному мановению превращается в борца, ходит по государственным инстанциям, просит, требует, грозит, пишет письма к правительству, вызывает к общественному мнению (советский человек никогда не думал и не знал, что есть какое-то "общественное мнение", кроме того, которое, обыкновенно, выражается единогласным поднятием рук на собрании), сам получает письма и посылки из-за границы, и - что совершенно выходит за пределы понимания — сам звонит за границу, и ему п о з в о л я ю т звонить.

Метаморфоза советского еврея — это обратная метаморфоза кафкианского героя, который обезличивается под иррацио-

нальным действием безличной системы. Советский еврей, осознавший себя личностью, совершает чудо: сама система, реагируя на его человеческий голос, начинает постепенно очеловечиваться.

Ведь советский еврей, утративший все точки опоры, вероятно, в большей мере, чем кто-либо другой, несет на себе печать и образ системы. Рассеявшееся по городам всего Союза еврейство до неразличимости смешалось с остальным населением, утратив почти все национальные характеристики.

Сегодняшний еврей — это обычный советский человек, забывший свою веру и историю, а часто и язык, переваренный с детства в котле советской идеологии, целиком и полностью разделяющий представления и ценности своей среды. Чаще всего он выделяется из нее лишь подчеркнутой лояльностью и идеологической благонадежностью, которые ему особенно необходимы, чтобы занять или сохранить то положение в жизни, которое другому достается само собой. Итак, еврей — положительный советский гражданин, в некотором роде опора системы.

Потому сам факт его внезапного выезда из страны, откуда никто и никогда уехать не мог, вызывает психологический и мировоззренческий шок у его окружения. Нетрудно представить состояние обыкновенного советского человека, когда его собрат-еврей, с которым он ссорился в общей квартире, сидел на общем партийном или профсоюзном собрании, с которым выпивал по праздникам и ходил голосовать за "блок коммунистов и беспартийных", вдруг начинает получать из-за границы письма, посылки, потом некий вызов, заявляет, что он хочет "возвратиться на свою историческую родину", и в результате интенсивной деятельности по продаже мебели, собиранию денег и беготни по разным инстанциям действительно уезжает за границу и начинает сам присылать оттуда письма, и посылки, и вызовы вчерашним друзьям и знакомым.

У оставшихся само собою возникает ощущение, что вот некто из них "вырвался" на свободу. Бессознательно ощущая свою несвободу, но не имея опыта политической борьбы, со-

ветский человек получил возможность на примере происходящей эмиграции осознать, что такое свобода, которой он лишен.

На примере евреев, борющихся за право выезда, встающих перед необходимостью "выкупа" себя из советского гражданства, советские люди осознают, что и они в свою очередь являются собственностью государства, что их знания, навыки, труд, они сами принадлежат государству. Перед ними открывается голый факт собственной закрепощенности, который до этого был задрапирован в идеологию.

Так еврейская эмиграция совершает особую работу по разрушению мифов, созданных режимом, по развенчанию магии советского слова. Поскольку сущностью советского режима является подмена реальной жизни ее идеологической интерпретацией, и главное его насилие над населением состоит в том, что людей заставляют разыгрывать беконечное представление (в котором действующие лица уже забыли, где кончается актер и начинается зритель), то, казалось бы, простая декларация влиятельных членов труппы, что им надоело советское представление, что они — "простые евреи" и хотят уехать "к себе на историческую родину", или вообще куда-нибудь подальше, действует отрезвляюще и на всех остальных участников фарса. Литовцы, украинцы, среднеазиаты, кавказцы, все те, в ком национальная приверженность никогда не была вытравлена до конца, собирают силы для противостояния советскому империализму. Немцы Поволжья и пятидесятники тоже требуют права на эмиграцию. Но до тех пор, пока оно не распространилось на всех, все прибегают к помощи израильской визы. Таким образом, еврей, борющийся за право выезда, превращается в борца за освобождение, а Израиль в обыденном сознании становится далеким таинственным островом свободы, символом освобождения.

Впрочем, влияние Исхода не только в том, что он дал возможность побега, как это пытается представить некое направление русской публицистики. Хотя и это уже является огромным достижением в стране, где за попытку побега люди отсиживают десятилетия в тюрьмах, лагерях и сумасшедших до-

мах. Но этого недостаточно. Влияние Исхода на внутреннее освобождение советского общества глубже и радикальнее. Прежде всего никакой поддержки от международного еврейства было бы недостаточно, и она сама не могла бы прийти, если бы стремление советских евреев выехать в Израиль не отлилось в форму правовой борьбы. Его правовой характер подтверждается тем, что само советское руководство отчасти воспринимает его как "законное". До сих пор для выезда из СССР нужно представить формальный вызов от "родственников в Израиле".

Движение за Исход "поймало" руководство на обещании дать воссоединиться членам разъединенных семейств. То, что обе стороны — желающие эмигрировать и режим — негласно сошлись на формуле "права человека на воссоединение с семьей", показывает, что права человека являются ахиллесовой пятой советской системы. И она рано или поздно вынуждена уступать движению, последовательно стоящему на правовой основе.

Таким образом, встав на позицию борьбы за право — пусть в односторонней форме — за право на эмиграцию в Израиль, евреи пустили правозащитное движение вширь, "в народ". Если до этого такая борьба была лишь уделом небольшой группы столичной интеллигенции, то еврейский Исход открывает глаза на значение права растущему числу советских людей. Многие из них ранее вообще не задумывались, что и они, согласно конституционно-правовому характеру советского общества, *de jure* являются субъектами права и должны бороться за его реализацию. Если учесть, что еврейство рассеяно по всей стране и пронизывает все слои индустриального общества, то становится ясно, что его влияние распространяется на всю страну, проникает в такие углы, где никогда и не слышали, что где-то в Москве, Киеве или Ленинграде есть какие-то диссиденты, которые борются за какие-то "права человека".

Распространенное выражение "качать права" иллюстрирует, насколько глубоко в психологии советского общества сидит бесправие. Этим ироническим и пренебрежительным выраже-

нием называется всякая попытка личности апеллировать к закону.

Однако на примере евреев, — а на их письма, в конце концов, начинает реагировать советская администрация — последняя приучается, пусть медленно, учитывать требования советских граждан как таковых. Для советского общества ведь характерно не отсутствие законодательства, без которого вообще не может существовать ни одно современное государство, а отсутствие правосознания на всех уровнях иерархии, у правителей в той же степени, что и у подданных. Это и приводит к подмене законодательства административным произволом.

Еврейское движение становится той социальной железой, которая начинает выделять гормоны правосознания. Евреи оказались первыми советскими гражданами, которые, как группа, как целое вынуждают администрацию видеть в них лиц, не вписывающихся полностью в тоталитарную структуру, имеющих некие свои права, не растворимые в безличной атмосфере государственной целесообразности. И в этом сказывается влияние Исхода не только на простых советских граждан, но и на администрацию и руководство.

Здесь следует учесть, что советское общество состоит из однородного материала: все одновременно являются и порождением и производителями одной и той же идеологической системы. Все подвержены пропаганде, которая как воздух наполняет образование и массовые средства коммуникации.

Психология закрытого общества и личного бесправия перед лицом безличной партийно-государственной машины присуща всем слоям, начиная от рабочего и крестьянина и кончая министрами и секретарями партийных организаций, которые и сами вышли из рабочих и крестьян.

Советское государство, рассматривая каждого как свою собственность, подозрительно и завистливо относится к Западу, вообще не привыкло кого бы то ни было "выпускать".

Исход евреев ломает догматические перегородки в сознании руководства. Не следует думать, что оно становится более либеральным и в результате начинает уважать права человека, но оно осваивает новый для себя навык: отпускать людей, не желающих жить в этой системе. Так нарушаются те психологические установки, которые predeterminedляли закрытость общества.

Это приводит к неожиданному результату, о котором, вероятно, не подозревали ни инициаторы еврейской эмиграции, ни режим — а именно: к возникновению новой русской эмиграции. И здесь небезынтересно рассмотреть ее значение для диссидентского движения в СССР.

Часто приходится слышать, что сама возможность эмиграции плачевно отражается на состоянии русской культуры и диссидентского движения. Уезжают наиболее активные, и Россия "пустеет". Такое сознание вполне естественно в контексте закрытого общества, для которого внешнего мира психологически не существует и "заграница" представляется пустотой. Это сознание игнорирует саму природу диссидентства, которое для него рисуется некоей статической данностью, а Россия — замкнутым пространством с определенным числом активно заряженных частиц. С их утечкой, естественно, образуется пустота.

Однако диссидентами не рождаются. Характерной чертой тоталитарного общества является то, что в нем диссидентами становятся сами советские люди по мере того, как в них просыпается Личность, по мере их нравственной эмансипации в условиях государства, претендующего быть совестью каждого. Советских людей делает диссидентами способность следовать голосу нравственного императива в надежде, что этот голос будет услышан и позовет других. И здесь надежда быть услышанными, пожалуй, становится его главной питательной почвой.

Показательно, что в годы сталинщины с ее лагерями и миллионами "политических заключенных" мы не находим и следа диссидентства. Оно смогло появиться в период относительной либерализации послесталинских времен. Однако до начала

массовой эмиграции оно было, по существу, движением одиночек, вступивших в безумное противоборство с государством. Независимо от того, в какой форме выражалась оппозиционность — в марксистской, националистической, правозащитной, религиозной, конспиративной или легальной — конец ее для диссидентов был всегда один и тот же — лагерь или сумасшедший дом. Оппозиция не имела никаких перспектив, и потому всякий протест неизбежно мог ограничиться лишь небольшим числом идущих на сознательную жертву людей.

Исход евреев открыл путь в эмиграцию и тем дал двустороннюю альтернативу как режиму, так и диссидентам. Эта альтернатива и стала своего рода ферментом постоянного взращивания диссидентства. Ибо эмиграция, противоречащая самим основам советского общества, по природе своей есть фактор оппозиционный и потому провоцирующий оппозицию, питающий ее.

Да и заграница - не пустота, в которую бесследно канули "бывшие русские". Эмиграция, в значительной степени интеллектуальная, становится мостом между отрезанной от мира советской Россией и Западом. Последний впервые получил реальную возможность приобщиться к советскому опыту, а советский человек — испытать себя в условиях Западной свободы. Пусть первые результаты этой встречи не всегда удовлетворительны и даже способны разочаровать обе стороны, сама ее возможность вносит новый динамизм и в советский и в западный миры.

Уехавшие не канули в бездну, а заговорили оттуда, катализируя внутреннее освобождение советского общества. Отъезд деятелей диссидентства, таким образом, не обескровливает его, а дает ему новую энергию. Число правозащитных ассоциаций, самиздатских публикаций, новых видов неподцензурной духовной деятельности, религиозных и национальных группировок не уменьшается, а растет. Сами эмигранты, независимо от этнической принадлежности и мотивов отъезда, выросшие и сформировавшиеся в СССР, продолжают воспринимать его как свою родину, поддерживают связь с друзьями и родственниками. Уже не одно коммунистическое

государство, а сам задавленный им и затравленный советский человек выходит за свои границы, распространяется по миру.

Возможность эмиграции для "инакомыслящих" возникла сравнительно недавно, и потому формы ее воздействия на советское общество еще неочевидны. Они будут выявляться постепенно и казаться органическими чертами эволюционного выхода этого общества из тоталитарного ступора. На самом деле, они и будут таковыми, поскольку и сам Исход при способности режима выпускать не более 30—40 тысяч в год и при желании эмигрировать сотен тысяч, становится фактором органическим и постоянным. Он медленно вовлекает все новых и новых людей, ворошит все новые и новые пласты советского общества, будучи способен растянуться на десятилетия, за которые будут постепенно размываться стены, отделяющие Россию от свободного мира. Так еврейский Исход начал новую петровскую революцию, на этот раз медленную, незаметную, ненасильственную, постепенно выводящую советскую тоталитарную Московию на просторы свободы.



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Тридцать лет ждала национальная оппозиция в Израиле своего часа. Давид Бен-Гурион, первый и долговременный глава правительства, выдвинул в качестве главного условия существования государства — коалицию "без Херута* и без коммунистов". Оставаясь много лет на периферии израильской политики, Херут, под руководством Бегина, пестовал идею национальной революции, и вот теперь возникает вопрос: где же эта революция?

Вместо долгожданной революции к власти пришла самая банальная коалиция, причем, в этой коалиции распределены роли так, что внешняя политика отдана на откуп главе партии — Бегину, а экономика — либеральной партии, унаследовавшей линию "общих сионистов".

Совсем еще недавно все прожекторы были направлены на подписание мира с Египтом. Галопирующая инфляция заставила обратить взоры внутрь страны, раздираемой кризисом,

* "Херут" — партия сторонников Жаботинского, в которую преобразовалась национально-военная организация ЭЦЕЛ.

растущей дороговизной, социальным брожением в среде широких общественных кругов.

ДВА ИСТОЧНИКА

Первый вопрос, который мы должны поставить, касается самого понятия "национальная революция". Каковы его исторические корни? Каково его содержание? Буржуазия была всегда слаба в Израиле, особенно до создания государства. Самой сильной ее группой были плантаторы, широко пользовавшиеся дешевым арабским трудом, и лишь после создания государства решающая роль перешла к городской буржуазии, выразителем ее интересов стала либеральная партия.

Иначе развивалось движение Жаботинского, оно консолидировалось, питаясь из двух источников — неудовлетворенный национализм и борьба против рабочего, халуцианского движения в строительстве еврейской Палестины.

Ревизионизм Жаботинского сформировался в 1923—25 годах, после того как Жаботинский оставил Сионистский исполнительный комитет и перешел в оппозицию. Это было тяжелое время для сионизма. Радужные надежды, которые всколыхнули еврейский народ, особенно в России, после Декларации Бальфура 1917 года увяли, так и не успев расцвести. Еврейский народ в массе своей не отозвался на призыв к заселению Палестины.

В 1922 году министр колоний Черчилль отторг Заиорданье от Палестины. Это и был первый раздел Палестины, исключивший большую часть страны из сферы еврейской колонизации. Сионизм вынужден был проглотить и эту горькую пилюлю.

Возможно, создавшееся положение и толкнуло Жаботинского в лагерь оппозиции. Сионизм шатался, как фонарь на ветру, между национальной мечтой и ее мизерной реализацией, и Жаботинский поднял знамя восстания, вокруг которого сплотились широкие массы, особенно еврейской молодежи в Польше, и, правда, не такие широкие круги в самой Палестине. Жаботинский требовал осуществления обещаний

Бальфурской Декларации и мандата, создания "колонизаторского режима", передачи государственных земель в фонд еврейского заселения. Одним словом, он требовал осуществления сионизма.

За спиной ревизионизма в те дни стоял национально-революционный импульс еврейской молодежи, восставшей против примиренчества, эволюционизма и оппортунизма. Молодежь стремилась к завоеванию страны для народа без страны.

БУНТ НА КОЛЕНЯХ

Жаботинский был яркой личностью, человеком высокого писательского и ораторского таланта, обладавшим магнетической силой влияния на людей. Его дела — создание еврейского легиона в дни Первой мировой войны, защита Иерусалима во время кровавых событий 1920 года, личное мужество, когда он был узником тюрьмы в Акко, все это создало вокруг его личности героический ореол. Его программа не страдала двусмысленностью. Выступая на XVI сионистском конгрессе в 1929 году, Жаботинский дал точное определение своего понимания сионизма.

"Что такое сионизм? — спрашивал он, — это не стремление найти моральную опору для еврейского народа. Значение слова "сионизм" всегда сводилось к тому, чтобы избавить многие миллионы людей от политической, экономической и культурной трагедии. Отсюда и сущность сионизма заключается не только в создании еврейского большинства в Эрец Исраэль, но и в создании места для миллионов на двух берегах Иордана".

Однако эта ясность целей не могла спасти ревизионизм от его внутренней, роковой слабости, ставшей его ахиллесовой пятой. Это был тот же тяжкий недуг, от которого страдал и весь сионизм: он был привязан к Англии, как каторжник к своей тачке.

Жаботинский резко критиковал мандат, но он не имел альтернативы на международной арене, а о политической самостоятельности незначительного еврейского меньшинства в Палестине и думать нечего было. Жаботинский не верил в возможность самообороны, он требовал создания еврейской

военной силы в рамках английских формирований. Для него еврейский ишув был только орудием сионистской политики, и он просмотрел превращение этого ишува в доминирующий фактор в сионизме.

В конце 1922 года, переходя в оппозицию, Жаботинский писал в своем меморандуме: "Я верю с той же верой, с которой верил всегда, что есть действительное тождество интересов между сионизмом и английскими интересами на Ближнем Востоке. И я верю с той же силой, что всякая попытка сызнавать это положение приведет к подтверждению этой точки зрения. Больше того, я совершенно уверен, что никакое британское правительство не нарушит Бальфурских обязательств".

Таким образом, восстание, поднятое Жаботинским, было ничем иным, как бунтом на коленях: борьбой против политики мандата во имя британского господства. Это был полет птицы с перевязанным крылом. Но как далеко мог уйти ревизионизм в этом полете?

"ДА, ЛОМАТЬ"

Жаботинский сам был демократом старой либеральной школы. Уже в 1928 году он провозглашает: "Я буржуа, сын буржуа, отец мой — буржуа милостью Божьей". Это было сказано тогда, когда сионизм держался почти исключительно на рабочем халуцианском труде и самопожертвовании.

Однако в среде приверженцев Жаботинского развивались, по необходимости, настроения совсем недемократического толка. Мы сказали: по необходимости, ибо латентное, внутреннее противоречие в ревизионизме между критикой английского мандата и в то же время его поддержкой, с одной стороны, и ненавистью к рабочему сионизму, с другой, неизбежно порождали а в а н т ю р и з м .

Радикальная оппозиционная энергия искала себе выхода. То там, то здесь возникали группы, искавшие выход в политике силы.

Одной из центральных фигур в этих кругах был талантливый журналист, историк Аба Ахимеир, который в начале тридцатых годов, вместе с поэтом Ури-Цви Гринбергом и

журналистом Явиным, создал подпольную организацию "Брит Бирионим" (буквально — союз хулиганов) *, а впоследствии, с приближением Второй мировой войны, открыто провозгласил себя фашистом (итальянского образца). И даже вел в газете колонку: "Из дневника фашиста".

Мы уже упомянули имя поэта Ури-Цви Гринберга. Как и Ахимеир, он был в двадцатых годах сторонником социалистического сионизма, в 1924 году он опубликовал свой панегирик Красной Москве по случаю смерти Ленина:

"В Евангелии трудового человечества высится имя Ленина как красный магнит... Еврейские пролетарии на еврейском острове салютуют Москве к похоронам Ленина"*.**

Но уже меньше десятка лет спустя тот же Ури-Цви Гринберг писал:

"Для меня иврит — это революция и диктат, не знающий компромисса. Это перманентная революция. Иврит имеет также свою точную формулировку и имя ее — сионизм. Как сионист я эгоцентричен, все концентрируется в еврейском пространстве, в Эрец Исраэль".

Аба Ахимеир проповедовал так называемый революционный сионизм. В своем письме из тюрьмы "К молодежи Бейтара" (молодежная организация ревизионизма) он пишет:

"Надо освободить молодежь от "красного еврейства" с одной стороны, и от филистерского сионизма — с другой стороны. Вместо филистерского и монастырского придет революционный сионизм. Общественный идеал осуществляется в испытаниях и страданиях, и путь к еврейскому государству усеян жертвами и мучениями. Наши жертвы вызовут энтузиазм среди израильской молодежи, и она найдет смысл жизни в сионизме"**.**

Слов из песни не выбросишь. Новейшее исследование о ревизионизме**** характеризует этот "революционный сионизм" следующими словами: "безграничная симпатия к фашистской идеологии и к фашистскому режиму пришла от

* В эпоху Второго Храма это была секта крайних, боровшихся против римлян, и умеренных внутри.

** Кунтрее (тетрадь) — еженедельник сионистско-социалистической партии "Ахдут гаавода" (Единство труда).

*** Сборник статей "Революционный сионизм", 1932.

****Я. Шавит. "От большинства к государству", 1978.

максималистского крыла ревизионизма в Эрец Исраэль".

Как уже было сказано, ревизионизм имел своим исходным пунктом два источника, вторым источником было восстание против рабочей гегемонии в еврейской Палестине.

Этому было несколько причин, здесь была борьба за сионистский "монизм", против примеси других идеалов (социализма), за национальное единство против классовый борьбы, за "свободную" экономику, освобожденную от пут рабочего монополизма. Завязавшаяся борьба приняла очень острые формы, превращаясь временами почти в гражданскую войну. Эта борьба достигла особой остроты, когда Жаботинский провозгласил в начале тридцатых годов свой знаменитый лозунг: **д а л о м а т ь**. Имелись в виду рабочие организации, Гистадрут и рабочие забастовки. Высшего драматизма достигла эта борьба после убийства Арлозорова, руководителя политическим отделом Сионистской организации. Это убийство остается до сих пор тайной, покрытой мраком неизвестности, но тот факт, что еврейская Палестина разделилась тогда на два лагеря — одни обвиняли ревизионистов в этом убийстве, другие отвергали это обвинение, как злостную клевету — говорит о крайней накаленности атмосферы. Характерно, что, когда впоследствии сделана была попытка примирения, соглашение Жаботинский—Бен-Гурион было отвергнуто на всеобщем референдуме Гистадрута.

ВОЖДЬ, ПРОРОК ИЛИ ДОН-КИХОТ?

Перед ревизионизмом не мог не встать вопрос: почему, несмотря на свой успех в массах, он остается совершенно бесплодным? Вот перед нами ответ, который дает на этот вопрос Аба Ахимейр: "У Жаботинского было два недостатка, он не был политиком, а — пророком, он не был архитектором. Герцль был архитектором, то, что он построил, осталось — конгресс, банк, Сионистская организация. Жаботинский был Дон-Кихотом в хорошем смысле этого слова"*.

* Сборник статей "Революционный сионизм".

В действительности ревизионизм страдал от органического порока — он не понимал "философии эпохи", ни в международном смысле, ни в сионистском. В сионизме это была эпоха **с о б и р а н и я с и л**, и нетерпение не могло не породить, как мы уже видели, всякого рода авантюризм. Не это ли имелось в виду, когда говорилось о Дон-Кихоте?

Суд истории не знает милосердия. История развеяла в прах мечты школы Жаботинского о национальной революции, но как раз к этому времени, или в незначительном отдалении от него, школа эта получила в свои руки бразды правления в Израиле. Как и почему это случилось?

По существу, уже результаты Второй мировой войны, победа антифашистских сил выбила почву из-под ног всякой организации, базирующейся на "вождизме". Затем произошло величайшее событие в еврейской истории — было создано еврейское государство, которое распространилось лишь на часть территории Палестины. Это событие лишало, с одной стороны, ревизионизм его центрального лозунга, но с другой стороны, — оставило на тлеющем огне мечты о **ц е л о с т н о м** Израиле. И вот, когда пришла победа в Шестидневной войне и все земли Израиля оказались в его руках, началось размывание границ между ревизионизмом и партией труда: многие и в этой партии начали стремиться к расширению территории государства Израиль. Этим самым ревизионизм добился своей полной **л е г и т и м и з а ц и и**, и когда партия труда потеряла доверие народа, главным образом из-за далеко зашедшего процесса морального разложения, пробил час движения Жаботинского: оно было призвано "володеть и княжить" народом Израиля.

Но здесь-то и кроется парадокс: к власти пришел ревизионизм, идейно **в ы д о х ш и й с я**, подобный часам со сломанной пружинкой. Оказалось, что слова, распространенные в Германии в начале века — социалисты могут победить, но социализм никогда, — вполне приложимы к национальной революции школы Жаботинского: **р е в о л ю ц и я н е с о с т о я л а с ь**. Теперь уже ясно, что ни о каком суверенитете Израиля на завоеванные Иудею и Самарию и речи быть не может. Но еще больше обнаружилось бессилие правительства

"переворота" в экономической области. Провозглашенная либерализация экономики оказалась, как и следовало ожидать, а н а х р о н и з м о м , и результаты не заставили себя ждать: ухудшение платежного баланса, увеличение государственного долга, инфляция, достигшая невиданных размеров, острая спекуляция на рынке квартир, сделавшая их недоступными для молодых пар и трудовых семей.

Однако самой острой, хоть и незаметной поверхностному взгляду, проблемой израильской экономики является ее структурная ущербность. Страна живет не по средствам, потребляет больше чем производит, и только одна треть населения занята в производстве, остальные — в сфере услуг. Таким образом развивается тенденция паразитизма в хозяйстве на обоих его полюсах: в верхах, делающих миллионы, в значительной степени за счет государственного бюджета и биржевых спекуляций, и в низах, где немало людей, предпочитающих социальное вспомоществование труду.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Все это говорит о том, что израильская экономика действительно нуждается в перевороте, надо ее перетряхнуть для того, чтобы возратить социальной пирамиде ее основание, для того, чтобы превратить Израиль в общество производительное, для того, чтобы поднять производительность труда и эффективность производства. Это и должно стать н а ц и о н а л ь н о й целью Израиля, на достижение которой должны быть направлены все усилия.

Этого можно добиться, но совершенно другим путем, противоположным правительственному курсу, пытающемуся "освободить" хозяйство от государственного вмешательства и регулирования. Надо перевернуть лестницу заработной платы для того, чтобы отдать предпочтение работникам и техническому персоналу, занятым в производстве; надо развернуть широкое строительство для того, чтобы сломать хребет спекуляции квартирами и обеспечить ими молодое поколение страны, надо сократить путь продуктов от производства к по-

требителю, с тем чтобы ликвидировать излишние звенья посредничества, удорожающие товары потребления. Надо определить "направление главного удара" — создание высокоразвитой экономики, которая может выдвинуть Израиль на одно из первых мест в мировом производстве. И, конечно, еще многое другое. Для того, чтобы это произошло, нужно р е в о л ю ц и о н н о е обновление Израиля. Произойдет ли оно?

Нам остается коснуться еще одного вопроса, требующего своего освещения: каков характер несостоявшейся революции школы Жаботинского? Не надо думать, что всякая революция и контрреволюция делается обязательно по известному образцу. Каждая страна имеет свою, о с о б у ю , революцию и свою, о с о б у ю , контрреволюцию, и не обязательны пушки "Авроры", как и не обязателен генерал Кавеньяк.

Израильская революция заключалась, раньше всего, в создании еврейского рабочего класса и класса земледельцев, составивших спинной хребет нации и обеспечивших национальную самостоятельность еще до того, как она была провозглашена. Контрреволюция в Израиле заключалась и заключается в том, чтобы повернуть колесо истории обратно, то есть, чтобы принизить роль рабочего класса в национальном творчестве, ликвидировать государственное вмешательство и общественный контроль в хозяйстве, сузить функции общественного и кооперативного производства.

Таково соотношение революции и контрреволюции в Израиле. Нет, следовательно, никакой трудности в определении места школы Жаботинского в этом соотношении.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата к свидетельствам новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

**"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Цена в розничной продаже — 6 лир. Газета продается
в магазинах русской книги и киосках страны.**

МИРАЖИ "ТЯЖЕЛОГО ПЕСКА"

В тридцатые годы советские ораторы неизменно начинали свои выступления с анализа так называемого текущего момента. Не нарушая эту странную для западного читателя традицию соотносить любое явление жизни с общественно-политической ситуацией, начну и я с текущего момента. А если говорить без иронии, столь укоренившейся в наших русско-еврейских умах и ставшей своего рода защитной маской, то приходится отметить, что еврейское движение в России переживает время затишья, ухода национальной мысли и национального чувства в глубины общественного сознания.

Волна идеалистически настроенной молодежи, что шла семь-восемь лет назад в авангарде эмиграции, отхлынула в Израиль, увлекая за собой определенные слои современного местечка. Вести, поступающие из Израиля, способны породить разочарование — коррупция, бюрократизм, интеллектуальная узость, духовный прагматизм. Переговоры с Египтом, породившие надежду на разрядку напряженности и, стало быть, на нормальное развитие нации в рамках демилитаризованного

государства, зашли в тупик. Второй эшелон российской эмиграции — техническая интеллигенция, выпускаемая в определенных дозах, в обмен на экономические и политические уступки США, отправляется за океан, создавая новые русско-еврейские колонии Нью-Йорка и Бостона.

Ситуация так сложна, пестра и противоречива, еврейские судьбы так часто становятся предметом торга великих держав, что временами кажется, уж не начинает ли сбываться пророчество Ахад-Гаама, писавшего в начале века: "Неужели мы столько выстрадали, переносили всевозможные муки и унижения в продолжение целых тысячелетий только затем, чтобы, в конце концов, основать крохотное государство, которое будет игрушечным мячом в руках великих держав".

Появление на фоне всех этих событий романа Анатолия Рыбакова "Тяжелый песок", в котором рассказывается о жизни и гибели во время минувшей войны еврейского городка, кажется фактом малозаметным. И тем не менее, мне представляется уместным проанализировать как сам роман, так и обстоятельства, в которых он был написан и опубликован.

В дни, когда пишутся эти строки, "Литературная газета" опубликовала портрет Рыбакова. Вроде бы просто так, без всякого видимого повода, в углу страницы под заголовком "Крупным планом". Пожилой благообразный человек с умным сухим еврейским лицом, стоя углубился в раскрытую книгу. Похож на ученого, врача, инженера — обычный интеллигентный еврей.

Его биография в той мере, в какой она мне известна, носит черты порядочности, благопристойности, успеха. До войны успел окончить автомеханический институт. Воевал. Работал инженером. Написал романы "Водители", "Екатерина Воронина" — добротные сталинских времен романы с их конфликтами хорошего с лучшим. В конце пятидесятых годов — несколько занимательных остросюжетных повестей для юношества — "Кортик", "Приключения Кроша". В новоявленный период напечатал у Твардовского совсем уж неплохой роман "Лето в Сосняках", обладающий некоторой остротой и достоверностью в показе стройки тридцатых го-

дов. В общественных писательских делах как будто не запянул себя никакими верноподданническими актами. Позиция — левее центра, но не на крайнем фланге, без всяких левацких выходов. Человек трезвый, опытный, если и продукт времени, то далеко не худший его продукт.

И вот роман о еврейском местечке и к тому же напечатанный в "Октябре", журнале, некогда прославившемся своей мрачной, фанатической реакционностью, лишенной, однако, шовинизма.

Говорят, обращался в другие журналы, говорят, не хотели печатать, боялись, говорят, писал в ЦК и там дали указание "Октябрю", а тот и рад случаю восстановить свою общественную репутацию. Много чего говорят...

Советского читателя поражает не только место публикации романа на подобную тему и не только подробное и любовное описание жизни евреев, которые как бы в противовес шолом-алейхемовским героям, предстают перед нами мужественными, физически сильными людьми, полными буйных и отнюдь не мелких страстей, но и рассказов об их гибели именно как евреев, вопреки утверждениям советской пропаганды, не устающей подчеркивать, что в газовых камерах концлагерей погибали советские люди, то есть русские, украинцы, евреи.

Вроде бы и не было никакой особой еврейской трагедии. Здесь же мы сталкиваемся с драматическим, полным душевнораздирающих подробностей, описанием уничтожения гетто. Более того, его обитатели, вопреки традиционному представлению о покорности евреев, пытались прорваться с оружием в руках к ожидавшим их партизанам. Это ли не аргумент в полемике с антисемитами, это ли не стремление возвысить еврейский народ, воздать ему должное на страницах подцензурной, а не самиздатовой печати? Как такое могли опубликовать — задает себе вопрос советский читатель. Уж не является ли это свидетельством начинающегося поворота в национальной политике советских властей, разумного человеческого подхода к еврейской проблеме? Как легки, как падки мы на надежды! Давайте спокойно и объективно раз-

беремся в том, что написал Анатолий Рыбаков и напечатал журнал "Октябрь".

Прежде всего отметим, что мы имеем дело с хроникой, и не только местечка, но и одной семьи. Сюжет завязывается причудливо и романтично. Сын знаменитого швейцарского врача еврейского происхождения Яков Ивановский, посетив в начале века вместе с отцом его родину — еврейско-украинский городок, влюбляется в красавицу Рахиль, женится на ней и поселяется в семье ее отца, местного сапожника Рахленко. Рассказ ведется от имени нашего современника, сына Якова и Рахили, и, будучи обращен из семидесятых годов в глубину десятилетий, овеян лирической дымкой семейной легенды. Очевидна и подчеркнутая эпиграфом к роману аналогия с библейской легендой об Иакове.

Экая непривычная для современной литературы ассоциативность. Впрочем, речь ведь идет о евреях. А Библия, помимо всего прочего, содержит национальную историю еврейства.

Стремясь к типизации, к вневременным обобщениям, автор наделяет сыновей еврейского сапожника Рахленко наиболее характерными национальными чертами: один — трудолюбивый и чистый помыслами ремесленник, другой — ловкий делец, третий — воин, четвертый — бесхарактерный мечтатель. Как не вспомнить четырех сыновей знаменитого пасхального ритуала, символизирующего многогранность национального характера.

Разумеется, Рыбаков не дает себе увлечься прямыми библейскими аналогиями. Сапожник Рахленко — отнюдь не Лаван, этот хитрый и прижимистый земледелец. Рахленко, скорее, быллинный богатырь, защитник обездоленных. И образ Якова не несет в себе черт прародителя евреев, это, скорее, один из тех праведников, ламед-вофов, которых народ порождает, словно для искупления своих грехов — чистый, скромный, естественный, самоотверженный. Возвышенна его любовь к жене, трагична и возвышенна гибель. После страданий земного существования Яков и Рахиль как бы растворяются в мире, не оставив физических следов. Подобного рода граничащая с мистицизмом символика, также несколько непри-

вычна для советской литературы с ее добротной реалистической традицией.

Действие развивается в двух плоскостях — абстрактно-вневременной и реально-исторической. Характеры героев помимо символической нагрузки несут в себе конкретные личностные черты, раскрываются в житейских поступках. Яркий и убедителен образ Рахили, еврейской матери семейства с ее силой, властью, эгоизмом любви. Точна речь рассказчика с ее интонацией русскоязычного еврея, выросшего в местечке. Акцент едва заметен, хотя и ощущается, автору здесь не изменяет чувство меры. Да и вообще во всем чувствуется профессиональный литератор, подошедший к своей теме во всеоружии накопленного писательского опыта, знания описываемой среды. И вместе с тем во всем ощущается, позволю себе употребить несколько непривычное слово, опытный советский литературный конструктор, ловко и точно расставляющий политические акценты.

Первый, еще едва заметный шов на теле романа, прикрытый конструктивной накладной, мы ощущаем уже на начальной стадии сюжета. В двадцатые годы родители Якова приезжают на Украину, чтобы посмотреть, как же живет их сыну. Они видят скудный быт послереволюционного городка, сына-сапожника (Яков освоил это ремесло), внуков — старший — типичный еврейский комсомольский фанатик двадцатых годов. Мать приходит в ужас, а отец... Представьте себе, этот базельский буржуа многое понял, он подметил благотворность происходящих в стране перемен, понял что сын здесь не чужой, он обрел себя в этом советском мире. Все понял пронзительный швейцарский профессор. Одного ему не дано было понять — что весь этот ловко завязанный сюжетный узел нужен был писателю Анатолию Рыбакову для одной-единственной, плохо прикрытой цели — бросить камень в спину еврейским эмигрантам семидесятых годов, которые убывают, в противоположность Якову, из России на Запад, отрясая прах своей социалистической родины.

Многие подводные рифы предвоенной жизни страны мигрирует семейный корабль Рахленко-Ивановских, ведомый опыт-

ным штурманом Анатолием Рыбаковым. Иные события как бы исключаются из поля зрения героев романа, скажем, голод на Украине в начале тридцатых годов, стоивший миллионов жизней. Как его разглядеть жителям маленького городка, тесно связанного, по заверениям автора, с деревней, как заметить среди забот, цель которых — строительство социалистического отечества? Но вот террор конца тридцатых годов — мимо него как-то уж трудно пройти еврейской семье, один из членов которой к тому времени уже ответственный партийный работник — типичная потенциальная жертва тридцать седьмого года. Эти события должны хоть каким-нибудь образом вторгнуться в идиллическое существование городка. И конфликт с временем происходит, но весьма своеобразный.

Яков, этот кристально честный, чистый человек, работающий заведующим складом на обувной фабрике, вместе с ее директором, бывшим рабочим Сидоровым, обвиняются в хищениях. Сначала появляется статья в местной газете с глухими политическими намеками, затем фабрикуется дело и начинаются семейные хождения по мукам. Сын, работник обкома, со своей отвратительной партийкой-женой, помочь отказался. Его собственная репутация оказалась замаранной, в результате чего его переводят с понижением в должности на Урал, где автор, чтобы не отдавать своего героя в уготованные ему пыточные камеры НКВД, толкает его, вместе с женой, под поезд. Случайность, что тут сделаешь, сколько их в жизни, таких случайностей! Спасение же Якова приходит не от человека из центра или секретаря обкома, который как бог из машины появлялся в конце романов сталинского времени, неся правду и справедливость, а от старого пьяницы-адвоката Терещенко (видите, как все тонко!). Он-то и выигрывает процесс, пренебрегая политическими обвинениями и обратившись к закону, с цифрами в руках доказав, что хищения не было.

Ох, не прост Анатолий Рыбаков. Точно расставил акценты, точно организовал сюжет. В обращении к законности, оказывается, спасение, той самой законности, к которой обращались политические реформаторы хрущевских времен. И в

конце тридцатых годов, мол, многое можно было сделать, если бы люди побольше уважали законы. Тоска берет от этих выкрутасов, от этой недостойной демагогической игры, ничего общего не имеющей ни с художественной, ни с обыкновенной житейской правдой. Какие уж там законы в тридцать седьмом, когда пистолет бандита был приставлен к виску общества. Видите, как все рассчитал: сын погиб в результате несчастного случая, отца же, которому только за одно его иностранное происхождение по всем правилам того времени пуля полагалась, спас мудрый адвокат. И снова плывет семейный корабль в волнах читательского умиления, и плыл бы себе да плыл, если бы не война.

Но прежде чем перейти к трагическому финалу писатель по всем канонам литературного контрапункта доводит до предела радостное звучание мелодии предвоенной жизни, этого потерянного рая.

1940 год. Яков и Рахиль празднуют тридцатилетие совместной жизни. За столом, накрытом в цветущем саду, — семья, соседи, друзья. Евреи, русские, украинцы, белорусы. Все пьют, веселятся, благословляют хозяев, являя картину апофеоза интернационализма, некую литературную интерпретацию безызывственной оперы Ваню Мурадели "Дружба народов". Подтекст сцены очевиден: вот она, гармония национальных отношений, бывшая реальностью до войны, до печальных искривлений ленинской национальной политики. Что же, не будем спорить с автором, попытаемся поверить ему на слово. Тем более, что миг счастья семьи Рахленко так кратковременен, всего год остается до войны.

Надо сказать, что советская литература, столь щедрая на воплощение событий минувшей войны, практически почти прошла мимо такого трагического ее явления, каким было создание на оккупированной территории, а вскоре и уничтожение еврейских гетто. Исключением служит яркая документальная повесть Марии Рольникайте "Я должна рассказать" и две-три книжки со слабыми претензиями на художественность, прошедшие почти незаметно.

Рыбаков — один из немногих советских литераторов, прикоснувшихся к этой теме, но и то не ради нее самой, не ради исторической правды, а преследуя определенную политическую цель — пытаясь сотворить миф о том, что советские евреи были не одиноки перед лицом своих палачей.

Методы создания этого вида мифа прежние: полуправда, умолчание, глухой намек. Словно опытный косметолог, писатель где-то приукрашивает лицо событий, слегка расцвечивает их ловкой выдумкой, где-то убирает, а где-то оставляет тени.

Трудно, скажем, отрицать зловещую роль многих украинцев в уничтожении евреев. Со времен хмельничины и гайдямачины в вакханалиях петлюровских банд укреплялась огромная ненависть к жидам, то вспыхивавшая в определенных исторических условиях, а то просто тлеющая в душах жителей малороссийских сел и городов. В этих ли селах было прятаться беглецам из гетто? Такое утверждать не осмелится никто. И Рыбаков глухо упоминает о выдаче еврейского ребенка в одной деревне... Ну, а соседи нашей еврейской семьи, с кем пировали и целовались перед самой войной, как они вели себя в этот страшный час? Но ведь за забором Рахленко жили не украинцы (это на Черниговщине-то!), а белорусы Сташенки, близкие друзья Якова и Рахили. Они-то и погибли в муках "за други своя" от руки немцев.

И в этом расчет опытного литературного демагога — подставить не украинцев, а белорусов — народ менее активный в антисемитском отношении и к тому же более пострадавший в годы войны. Пусть не приводят мне примеров спасения украинцами евреев. Такие случаи могли быть и, конечно же, были. Поляки, вон, пытаясь смыть с себя обвинение в антисемитизме, даже целую книгу документов выпустили, показывающих, как прятали польские семьи евреев, расплачиваясь порой за это жизнью. Еще бы в тридцатимиллионном польском народе не найти праведников, наконец, просто изначально порядочных, благородных людей. Они были, и их, видимо, немало среди украинцев. Но я ведь о тенденции, о массовом отношении. И здесь никто не может отрицать факта: еврейс-

кий народ на территории Восточной Европы — Польши, Украины, Белоруссии — оказался в трагическом одиночестве, в полной изоляции от, в лучшем случае, равнодушного, а в худшем — враждебного местного населения. Я повторяю этот общеизвестный мировому общественному мнению тезис только лишь для того, чтобы оттенить недостойность и кощунственность игры с историей, полуправды и откровенной неправды, которой насыщен роман Рыбакова. И никакая симпатия к евреям, никакая романтическая подмалевка событий не снимают подобного ощущения.

Взять хотя бы историю похищения партизанами грузовиков с военным снаряжением с тем, чтобы вооружить гетто. Господи помилуй, только на читателя, совершенно незнакомого с условиями еврейского существования периода Второй мировой войны, может быть рассчитана подобная легенда. Если партизаны и похищали оружие, то они уж меньше всего думали о снабжении им евреев. Хроники польских, литовских, украинских гетто повествуют о крайне редких и почти безуспешных попытках оказать хоть какое-либо сопротивление немцам даже в период массового уничтожения (исключением является восстание в Варшавском гетто). Конечно же, еврейская молодежь пыталась налаживать связь с партизанами, чаще всего наталкиваясь на недоверие, враждебность, равнодушие. А если уж и добывалось оружие, то, как правило, это был десяток старых пистолетов или самодельные бутылки с горючей смесью, так называемые, коктейли Молотова.

Транспорт с похищенным оружием; возглавляемая одним из сыновей сапожника Рахленко группа партизан, прикрывающая на опушке леса уходящее население восставшего гетто... Если бы то было хотя бы плодом разгоряченного воображения писателя, но нет, здесь также — холодный политический расчет, точное знание того, что, когда и где нужно сказать.

Новейшая еврейская история не нуждается в приукрашивании, еврейский народ не нуждается в возвеличивании такими методами, тем более, что боевой дух нации достаточно

проявил себя в других обстоятельствах — при создании и защите своего государства.

Послевоенная жизнь русского еврейства затронута в романе краем, слегка. Досказывая историю своей семьи, сын Якова и Рахили сообщает нам о том, как, отвоевав не где-нибудь, а в дивизионной разведке, он женился на русской женщине, родившей ему трех сыновей, которые выбрали себе еврейскую национальность. Почему? А почему сын татарина и русской записывается татарин? — скромно и лукаво вопрошает герой романа. Вот так вот, а мои сыновья — евреи!

И здесь Анатолий Рыбаков остается верен себе. Чуть-чуть, намеком затронув острый вопрос современной советской общественной жизни — о национальном достоинстве евреев, показав читателю кончик проблемы, мол, умному достаточно, и вызвав тем самым ответное читательское умиление — ишь ты, чего касается, почему, в самом деле, сын татарина и русской считает себя татарин, а еврею нельзя? — он, на самом деле, уходит от реальных и очевидных проблем русско-еврейской жизни, просто игнорируя их.

В самом деле, жил себе да поживал после войны скромный инженер Ивановский, сын Якова и Рахили, не замечая и ни словом не откликаясь ни на уничтожение верхушки еврейской творческой интеллигенции в конце сороковых годов (гибель Михоэлса и других), ни на предпогромные настроения начала пятидесятых (дело врачей), не говоря уже об исходе русского еврейства семидесятых годов. И приходится нам досказывать историю Якова и Рахили, ибо она продолжается в судьбах их внуков, трех сыновей скромного инженера Ивановского, которые, как и миллионы других русских евреев их возраста, решают один-единственный мучительный вопрос — жить им дальше в их многонациональном советском отечестве или искать новую Родину? Ответ на этот вопрос определяет теперь будущее потомков Якова и Рахили.

Завершая эту статью, в качестве постскриптума хочу сказать следующее. Предвижу вопрос: а что же вы хотите от советского писателя, чтобы он сказал все, как есть, всю правду без прикрас и умолчания, кто же ему позволит, кто ж напе-

чатает, и так едва опубликовали роман. Что касается трудностей публикации романа, то отнесем их за счет тупоумия советских органов пропаганды, не сразу сообразивших, какую удобную, нужную им концепцию еврейской проблемы выдвинул Анатолий Рыбаков. "Литературка", возглавляемая людьми более гибкими, правильно сделала, напечатав портрет писателя. Стоило печатать, хороший роман, наш человек!

Ну, а что касается возможности сказать всю правду, как она есть, то, на мой взгляд, коль скоро нет такой возможности, лучше уж совсем ничего не говорить. Ибо полуправда хуже, чем явная ложь, а молчание — тоже род протеста. И молчание узника я всегда предпочту угодливой, ловко сконструированной литературной полуправде, в конечном итоге оскверняющей великую и трагическую историю еврейского народа.



Владимир СОЛОВЬЕВ

Самое поразительное, однако, в том, что Зощенко не только веселится, называя писательство "варварским занятием" — он и в самом деле иногда так думал.

Зощенко вспоминает стихи: "От ямщика до первого поэта мы все поем уныло... Печалию согрета гармония и наших дев и муз", а от себя добавляет:

"Очень жаль. И гордиться, так сказать, этим не приходится. Нынче мы желаем развенчать эту грусть. Мы желаем, так сказать, скинуть ее с возвышенного пьедестала".

И делается это очень просто: грустные глаза — значит, в организме какой-нибудь непорядок, либо истеричка, либо почками страдает, либо ущемление грыжи, либо вообще чахоточная.

И Михаил Зощенко, материалист, детерминист и рационалист, с открытым забралом вступил в бой с "душевым реализмом" XIX века, сочтя его ответственным за расслабленные, смутные и противоречивые чувства некоторых своих современников.

"У нас до сих пор идет традиция прежней интеллигентской литературы, в которой главным образом предмет искусства — психологические переживания интеллигента. Надо разбить эту традицию потому, что нельзя писать так, как будто в стране ничего не случилось".

Подобные высказывания Михаила Зощенко нельзя счесть за сугубо литературные манифесты, хотя, конечно, Зощенко был солидарен с Маяковским, Олешей, Бабелем, Тыняновым в желании создать новую литературу, полемическую к прежней.

Здесь он следовал за своим временем не только покорно, но и восторженно, порою даже перевыполняя положенную норму верноподданничества. Это часто бывает с людьми, которым не доверяют — из кожи вон лезут, чтобы доверяли!

А только напрасно...

Юрий Олеша или Юрий Тынянов, к примеру, играли с эпохой в поддавки, уступали ей, чтобы ее задобрить, шли на компромиссы, чтобы приручить загадочного зверя с непроявленными еще желаниями. Другое дело Зощенко — он опережал

ОШИБКА МИХАИЛА ЗОЩЕНКО

3 июня 1935 года Михаил Михайлович Зощенко заканчивал у себя на квартире в Ленинграде "Голубую книгу".

Закончил он ее весело — не по-зощенковски, правда, а, скорее, по-бабелевски, может быть, даже вспоминая слова Арье-Лейба, обращенные к автору "Одесских рассказов": "Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях".

Так вот — Зощенко закончил "Голубую книгу" весело и уверенно:

"Сидим за письменным столом и пишем эти строчки. Окно открыто. Солнце. Внизу — бульвар. Играет духовой оркестр. Напротив серый дом. И там, видим, на балкон выходит женщина в лиловом платье. И она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности не свойственное мужчине и человеку.

И мы смущены. И бросаем это дело.

Привет, друзья".

время, забегал вперед, его ниспровергательный пафос был непреклонным, радикальным и тотальным. Он пытался угадать не только вкусы будущего времени, но и чудовищный его аппетит, хотя все-таки преуменьшил его, да и кто мог подумать, что Гаргантюа окажется антропофагом?

Быстрыми темпами — пятилетка за пятилеткой! — возводилось на страх врагам высотное здание социализма, и никто не мог предполагать, что во враги будут зачислены и те, кто работал на этой стройке с вдохновенным энтузиазмом и победными песнями. Отдадим же должное Михаилу Зощенко — он вложил в эту Вавилонскую башню не только труд, но и страсть, но это, увы, не было учтено авторами знаменитого Постановления 1946 года: Сталиным и Ждановым. Михаил Зощенко мог бы гордиться тем, что был у эпохи новой метлой, которая, согласно пословице, чисто метет — он вымел со строительной площадки явно излишние, ввиду грандиозного строительства, жалость, доброту, сентиментальность, интеллигентность и прочие человеческие чувства. Он не учел только, что у таких великих зданий обязательны брандмауэры, глухие стенки, к которым приставляют наиболее восторженных строителей и убивают их — согласно доброй традиции создателей пирамид и закапывателей кладов. Его ждала судьба доктора Гильотена.

В 1930 году он написал свой программный рассказ "Дама с цветами", а в 1935 году включил его в "Голубую книгу".

Рассказчик по инерции ерничает, не в силах выйти из привычного тона, но чем дальше, тем очевиднее неуместность "зощенковской" интонации для избранного писателем на этот раз сюжета. И неуместность эта — намеренная: Зощенко стремится сорвать романтический флер с некоторых традиционных понятий.

"Одним словом, этот рассказ насчет того, как однажды через несчастный случай окончательно выяснилось, что всякая мистика, всякая идеалистика, разная неземная любовь и так далее и тому подобное есть форменная брехня и ерундистика.

И что в жизни действителен только настоящий материальный подход, и ничего, к сожалению, больше".

Мелодраматический сюжет приводит, однако, современного читателя к выводу иному, чем писателя. В оценке сюжета читатель и писатель резко расходятся.

Так, кстати, в истории литературы не раз случалось — Сервантес задумал развенчать с помощью литературной пародии такой анахронизм, как рыцарство, но читатели, прочтя его роман, решили иначе, и по сю пору Дон Кихот — символ человечности и справедливости.

Жест и интонация в "Даме с цветами" воспринимаются по контрасту с сюжетом рассказа и выглядят по отношению к нему кощунственно.

Прежний литературный метод Михаила Зощенко на этот раз не срабатывает — возможности его литературного метода не безграничны, есть в пародийном, ироничном и отчужденном мире писателя свои стены и свой потолок.

Зощенко тридцатых годов оказался в плену собственной традиции: он уже иной, чем прежде, он то ищет новую форму, а то пытается распространить найденную им в двадцатых годах форму на новое содержание.

Меняется жанровый характер его рассказа — рассказ становится похожим на басню, которую Гегель в свое время окрестил рабским жанром, ибо автор находится в рабстве у самого себя, втискивая многомерную реальность в резко очерченные рамки морального урока.

В 1932 году Зощенко пишет рассказ "С луны свалился" — два контрастных варианта на одну фавулу: "рассказец" в манере двадцатых годов и строгая сатира "в академическом виде". Между этими вариантами — авторская прокладка — отказ от прошлого сопровождается самоиронией, автопародией. Зощенко бросает на прошлое насмешливый, влюбленный и прощальный взгляд.

"Вот, примерно, в таком легком виде года три-четыре назад сочинил бы я рассказ на эту тему.

Ну, конечно, молодость. Беспечность в мыслях. Пустяковый взгляд на вещи.

А нынче как-то оно не то. Нынче охота быть поближе к правде. Неохота преувеличивать, выдумывать и кувыряться. Неохота сочинять разные там побасенки и фарсы с переодеванием".

А, может быть, и борьба с неземной любовью и прочей интеллигентской ерундистикой была борьба с самим собой, с собственными чувствами, тщетная попытка сделать себя неуязвимым в отношениях с новым миром и новыми людьми? Разве не странно, что такого антиинтеллигентного писателя, как Зощенко, любили не только Горький и Маяковский, но и такие утонченные эстеты, как Осип Мандельштам, назвавший в "Четвертой прозе" рассказы Зощенко библией труда и предложивший поставить ему памятники по всем городам и местечкам Советского Союза или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду, и Анна Ахматова — вот уж "дама с цветами", достаточно вспомнить ее "Четки", "Белую стаю" или взглянуть на ее портреты у Модильяни и Альтмана!

Кстати, трудно себе представить более противоположные характеры — и в жизни и в литературе — чем Ахматова и Зощенко. Вот уж действительно скованные одной цепью: Постановлением ЦК партии 1946 года! Объединены они насильственно, но задним числом мы находим этому союзу веское основание — полную обоих непригодность, неприемлемость, даже враждебность разрешенной литературе сталинского периода.

"Сентиментальные повести" Михаил Зощенко приписал И.В. Коленкову, вроде бы его ученику в литкружке, "интеллигентному типу, которому случалось жить на переломе двух эпох". В предисловии 1929 года сказано:

"Неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия, меланхолия — вот чем пришлось наделить нам своего "выдвиженца", И.В. Коленкова. Сам же автор — писатель М.М. Зощенко, сын и брат таких нездоровых людей, — давно перешагнул все это. И в настоящее время он противоречий не имеет.

...И автор умоляет почтеннейшую критику вспомнить об этом замысловатом обстоятельстве, прежде чем замахнуть на беззащитного писателя".

Приблизительно в том же роде открещивался от своих автобиографических героев Юрий Олеша — и от Николая Кавалерова, и от попутчика Занда, "кое-что из секретных записей" которого Олеша опубликовал в 1932 году: "Не отождествляйте меня с Зандом! Занд — только половина моих воспоминаний..."

И Зощенко, и Олеша, боясь вступить в открытый с временем конфликт, пускали вперед "мальчиков для битья". Природа их псевдонимов защитная, превентивная, страховочная. Они пытались оттянуть развязку, выиграть время, не догадываясь, что проиграна вся жизнь, а главное — судьба, и снявши голову — по волосам не плачут. Время предпочитало открытый, откровенный и жесткий разговор, нюансы и тонкости были ему не по вкусу и не по плечу, душевные изломы оно принимало за изворотливость и, подняв оппоненту забрало, било беззащитного писателя прямым ударом в морду.

Что такое человек? Неужели это то, что необходимо в себе преодолеть — ценой всей жизни? Сейчас меня тревожит судьба Михаила Зощенко и куда меньше его произведения...

Он любил скрываться, и маску писателя читатель видел чаще, чем его лицо. Он начал с рассказов Назара Ильича Синябрюхова. Он создал воображаемое лицо И.В. Коленкова. Он написал шестую повесть Белкина, будто утерянную, — "Талисман". В нем был артистизм, который заставлял его разыгрывать фарсы с переодеванием, у него были авторские наместники, которым он доверял свой талант.

Одному из таких наместников он передоверил свою судьбу.

Он создал в двадцатые годы усредненный тип обывателя, образ колеблемый и неустойчивый — то жертвенный, то агрессивный, то вызывающий жалость, а то — опаску, и этот образ принес Михаилу Зощенко всесоюзную славу.

Это была маска, наподобие чаплинской, и не только читатель, но и автор привык к своему герою и даже полюбил его. В двадцатые годы Зощенко к нему только приглядывался, сохраняя дистанцию между собой и авторским персона-

жем. В тридцатые годы Зоценко неожиданно сбросил маску и заговорил от имени своего героя.

Автор не равен рассказчику. Более того, как писал Виктор Шкловский, для сказа берется обычно ограниченный человек, не понимающий события. Здесь и возникает ироническая ситуация — рассказчик рассказывает одно, а читатель воспринимает совершенно другое.

Скажем так:

"А между тем прожила она с Иван Савичем почти что пятнадцать лет душа в душу. Правда, дрались, слов нет. До крови иной раз бились, но так, чтобы слишком крупных ссор или убийств — не было".

Таков диапазон — от "бились до крови" до "душа в душу". Иронический эффект — от полного несоответствия утверждаемого рассказчиком и воспринимаемого слушателем.

В некоторых случаях писатель как бы полностью самоустраняется, и читатель оказывается полностью предоставленным самому себе, — ему предстоит сделать самостоятельный вывод из прочитанного. Возникает то, что французский критик Ролан Барт назвал *le flottement du sens*, колебание смысла, причем, амплитуда этого колебания столь велика, что читатели занимают по отношению к зоценковским ситуациям и героям порою прямо противоположные позиции.

Однако полисемичность, а говоря проще, двусмысленность зоценковской прозы — черта не только художественная, но и политическая, причем, политическая по преимуществу. К примеру, рассказы "Любовь" и "Рыбья самка" до сих пор в Советском Союзе не переиздаются, несмотря на все попытки спекулятивной критики разминировать их, обезвредить, лишить политического запала. Делается это до смешного просто — скажем, предсмертная анафема героя "Рыбьей самки" Советской власти объявляется недействительной, так как она исходит из уст социально вредного элемента. Беда в том, однако, что читательские симпатии на стороне этого несчастного героя — несмотря на то, что он поп, но если бы даже этих симпатий и не было, все равно читатель бы судил о политических заявлениях героя по его аргументации — независимо от ду-

шевых качеств героя, а уж тем более независимо от временной социальной иерархии. В конце концов, истина выбирает местожительство по собственному усмотрению, часто весьма неожиданное, и глаголет порою устами оскверненными...

Неоднократно клялся Зоценко в близости своих рассказов жизненным фактам, и в самом деле, часто он брал случай из хроники происшествий или из газетного фельетона и возводил его в ранг художественного рассказа: активно инфильтрировал в литературу жизнь.

"И вообще я никогда не вру и писать стараюсь без выдумки. Фантазией я не отличаюсь. И не люблю поэтому растрачивать драгоценные свои жизненные соки на какую-то несуществующую выдумку. Я знаю, дорогой читатель, что жизнь много важнее литературы".

Жизнь и в самом деле была в это время важнее литературы: литература была отменена за полной ненадобностью.

Впрочем, и жизни повезло не больше: к 1937 году она была полностью обесценена и не стоила гроша ломаного.

Простим художнику Михаилу Зоценко чудовищное это противопоставление — действительности художеству. Ему казалось, что подпевать палачам — это значит избежать жертвенной своей участи. А было по-другому, и головы палачей летели так же тихо, как и у остальных сограждан...

Зоценко был сыном художника-передвижника, но сам бытовиком не стал: опирался на быт и уходил от него — в сторону, в бок.

Мир зоценковского героя — мир фантастический, абсурдный; отчужденный от реальности. Жизненный факт — это печка, от которой танцуют и от которой очень далеко оттанцовывают.

Яблоко, упавшее с яблони и укатившееся черт знает куда!

И "Аристократка", и "Баня", и "История болезни" — рассказы фантастические: они указывают на реальность, преувеличивая ее черты, преобразая ее самое и обнажая тем самым гибельную ее суть.

Важны не свидетельства, а свидетели.

Фантастика — способ показать чудовищную абсурдность

реальности, к которой мы постепенно привыкаем, а — нельзя!

Место действия зощенковских рассказов — баня, трамвай, поезд, приемная врача, коммунальная кухня, театр, кинематограф — места, что называется, "общего пользования", где скопление различных людей неизбежно, как и столкновение их между собой.

Время действия указано с предельной точностью, причем, хронологическая точка отсчета — Октябрьская революция:

"А, действительно, братцы мои, десять лет протекло. Шутка ли!"

"Я, говорит, десять лет присматриваюсь к нашей стране и знаю, что за это бывает".

"На двенадцатом году революции".

В чем здесь дело? В особой чуткости зощенковских героев к истории?

Напротив.

Время они воспринимают сугубо формально — скорее, календарно, чем исторически. В этом отношении зощенковские герои — прямая противоположность их автору.

Им нужна формальная мера отсчета — они избрали общедоступную, но возможные и хронологические ритмы: "А время, конечно, идет. Вот уже восемьдесят седьмая годовщина ударяет со дня смерти нашего дорогого поэта Пушкина. Потом восемьдесят восьмая. На восемьдесят девятой годовщине..."

Они помнят, сколько лет протекло с Октябрьской революции, но знать не ведают, какое сейчас тысячелетие на дворе: миру истории они противопоставляют мир быта. Обыватель прячется от времени в скорлупу мещанской жизни, и Михаил Зощенко колеблется, не зная, чью сторону взять. Причем, колебательная амплитуда авторской позиции грандиозная — куда там Фуко с его маятником! Нет, это не примитивно-однонаправленное "мурло мещанина" современной советской сатиры, хотя включает в себя в том числе и эту функцию и даже шире по социальным обобщениям — мещанин, освоившийся в советской жизни и даже захвативший в ней командные посты и действующий ее именем. Но с другой стороны, у

человека вроде бы и нет другого выхода, как ограничить свою жизнь домашним кругом, хотя и это не выход — тайный присмотр времени за человеком завершился открытым и кровавым вмешательством эпохи в частную жизнь.

И попытка Назара Ильича господина Синебрюхова спастись незнанием — "Я человек не освещенный", больше того, "...очень я даже посторонний человек в жизни" — с каждым годом выглядела все наивнее и невозможнее.

Вот рассказ "Жертва революции" — о полотере Ефиме Григорьевиче, через революцию пострадавшем. Слово — Ефиму Григорьевичу:

"И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы это, думаю.

Спрашиваю у прохожих. Отвечают:

— Вчера произошла Октябрьская революция.

Поднажал я — и на Офицерскую".

Зощенковского героя не может отвлечь от его дел даже революция — путь обывателя одинок, независим и целеустремлен. Более того — революцию он направляет по руслу собственной жизни. Историю он воспринимает отстоявшимися сгустками, терминологически и эмблематично, а не как конкретный процесс. Фраза "Вчера произошла Октябрьская революция" принадлежит, естественно, не прохожему семнадцатого года, а рассказчику — обывателю двадцать третьего года, который с революцией освоился и ее к себе приспособил!

Не он к ней, но она к нему!

Именно с помощью обывателя подвергнута была ревизии вся лозунговая система революции. Как здесь не вспомнить об эренбургском Хулио Хуренито, для которого "Кто был ничем, тот станет всем" равносильно насильственной пересадке зрителей с галерки в партер, а с партера на галерку. Амбициозность зощенковских героев именно по причине почетного места, которое — супротив пословице — не только красит человека, но и полностью его подменяет, подменяя под себя, либо, напротив, возвышая.

Володька Боков, окосевши, маленько хулиганит в поезде и на предостережения пассажиров уверенно заявляет: "Ты мое самосознание не задевай. Не могут меня замести в силу моего происхождения. Пуцай я чего хочешь сделаю — во всем мне будет льгота".

Василий Степанович возмущен, что его не пустили в ресторан: "Ах, так! Рабочего человека в ресторан не пуцать? Костюм неинтересный?", но в милиции выясняется, что не в костюме дело — Василий Степанович был в стельку пьян. Аналогичен сюжет рассказа "Мещане": "Василия Тарасовича Растопыркина — Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного, черт знает с какого года — выкинули с трамвайной площадки", хотя выкинули, естественно, за дело, а не за то, что чистый пролетарий.

Зощенковский герой — заскорузлый обыватель, матерый хам — тот самый грядущий хам, о котором провидчески предупреждал Мережковский, но он требует для себя демократии и свободы, качает права, дарованные ему революцией.

Зощенковский герой глубоко убежден, что о человеке должно судить не по личным его заслугам и достоинствам, а по принятому "обменному", что ли, курсу ценностей: от социального происхождения до союзной книжки.

В представлении зощенковского героя-рассказчика бюрократическая функция подменяет человека. В рассказе "Гри-маса НЭПа" пассажиры в вагоне вступаются за старуху, которую сверх меры нагрузил багажом здоровый мужчина, да еще ею понукает: нарушена норма в отношении старослужащего гражданина, унижается ейное старушечье достоинство, гримаса НЭПа, эксплуатация переростка. Но все эти вполне основательные причины рассыпаются прахом, когда выясняется, что старуха не домашняя прислуга, оказывается, а всего-навсего мамаша гражданину.

Другая транспортная история — о том, как приехавший из деревни Тимофей Васильевич встретил в трамвае своего племянника Серегу Власова, которого семь лет не видел, а Серега теперь — трамвайный кондуктор, и решил Тимофей Васильевич на радостях за проезд не платить.

Тимофей Васильевич интересуется писателя не более, как фактура. Куда интереснее Серега с его гамлетовыми терзаниями. У него две функции: отмирающая родственная — племянник, и крепнущая должностная — кондуктор. Побеждает последняя: не кондуктор племянника, но должность — чело-века.

— Сойдите, товарищ дядя, — официально сказал племянник.

Зощенко — это советский Кафка, но то, что последнего приводило в ужас, нашего писателя вроде бы веселит. Все зависит от точки зрения.— Кафка в своих видениях угадывал будущее, Зощенко, так ему казалось, смехом провожал прошлое. Отсюда пессимизм одного и оптимизм другого.

Но если бы не смех... В рассказе "Административный восторг" Зощенко, ссылаясь, кстати, на газету, рассказывает чудовищную историю: начальник милиции арестовывает свою жену за неповиновение.

Родственные отношения, как и привычные человеческие качества, атрофированы и — свято место пусто не бывает! — подменены административными связями: жена может не бояться мужа — не прежние времена! — но товарищ Дрожкина должна подчиняться товарищу Дрожкину: не как мужу, а как начальнику милиции. То же — с трамвайным кондуктором Серегой, который находит замечательную словесную формулу для того душевного компромисса, на который он вынужден идти: "товарищ дядя"...

Товарищ дядя, товарищ жена, товарищ мама...

Не муж и не племянник, а милиционер и кондуктор! Не человек, а занимаемая им должность, служебная функция, номенклатура!

А отсюда недалеко уже и до громогласных отказов от арестованной родни, как бы близка она ни была.

Впрочем, превентивный этот церемониал семейного предательства обычно не спасал от преследования родственников репрессированных и носил издевательский, иезуитский характер. Что-то было в Сталине от Лойолы — по уму не дотягивал, зато покрывал интеллектуальную недостачу масштабом зверств: количеством подменял качество.

Зощенко застал это явление в зародыше и разгадал его страшные последствия.

Однокоренные слова стали вскоре противоположными понятиями.

Антонимы: родственник и родина.

Родина была матерью, а Сталин отцом, зато биологические отец и мать — побоку, под суд.

Товарищ дядя превратился в гражданина дядю.

Гражданин дядя, гражданин жена, гражданин мама...

Двадцатые годы были окрашены мрачными предчувствиями и глупыми надеждами.

В двадцатые годы между автором и рассказчиком, между писателем и его подставным лицом, между Михаилом Зощенко и его героем была дистанция: ирония.

В тридцатые годы автор все чаще стал совпадать со своим героем.

Что же произошло?

Признаюсь — я несколько выпрямил и упростил зощенковского героя. Он многолик и многозначен и в ряде случаев, в ряде столкновений вызывает сочувствие. Порою он даже не авторская маска, но авторское alter ego. Своего героя Зощенко одаривает автобиографическими чертами: участие в войне, отравление газами, ранение, нервное заболевание. Через этого героя писатель пытается выразить свое отношение к тем или иным явлениям жизни — инциденты в бане или в больнице наглядное тому свидетельство.

"Вот опять будут упрекать автора за новое художественное произведение, — заранее оправдывается Зощенко. — Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее".

И внезапно переходит в открытый бой и бросает перчатку самому Максиму Горькому, цитируя взятые на вооружение официальной идеологией его слова о гордом человеке:

"И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота, да звучит гордо. А как до дела дойдет, так просто, ну, пустяки получают..."

Не выдержал — прорвало!

Или доведенный до бешенства идеологическим столбняком опускается до просьбы униженной, но и ультимативной одновременно:

— Не мешайте, товарищи! Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии!..

Антигероические и антимонументальные тенденции в прозе Михаила Зощенко оправданы именно идеологически — ввиду присвоенной государством прерогативы на собственное мнение.

Несгибаемому, военизированному, идейно закаленному герою с революционным прошлым, всеильным партбилетом и показательной анкетой Михаил Зощенко предпочел — и противопоставил! — партикулярного мещанина, "среднего человека".

Очевидная, несомненная, полемическая дегероизация — можно только удивляться, что гром грянул в 1946 году, а не раньше! Дурака-то что валять — первым перчатку бросает художник, не выдерживает чудовищного этого напряжения: первый вступает в бой слабый, а художник всегда слабый — по сравнению с читателем, с народом, с государством.

В 1927 году Михаил Зощенко рассказал об уличной сценке, которая сегодня звучит весьма двусмысленно и провидчески, поставленная в контекст его судьбы — да и не его одного! Шел он однажды по улице, а впереди его гражданин — большой, здоровый, сажень в плечах. Идет себе впереди как ни в чем не бывало, а Зощенко сзади его шагает. Так и шли нога в ногу, пока Зощенко на нищего ни засмотрелся и со всего маху переднему гражданину на ногу наступил — на пятку и повыше.

"И наступил, надо сказать, форменно со всей возможной силой.

И даже я замер тогда в испуге. Остановился. Даже от волнения "извините" не сказал.

Думаю: развернется сейчас этот милый гражданин и вцепит в ухо".

Обошлось однако на этот раз.

Нет, чтобы перейти на другую сторону, либо свернуть в

переулок — Зощенко пошел дальше за передним гражданином. Нога в ногу. За атакующим классом. Пронесет или нет? Обернется, даст в ухо или обойдется?

Последний раз Зощенко наступил ему на пятку, рассказав про убежавшую из зоопарка обезьяну, которая, нагулявшись вдостоль на советской воле, предпочла за благо возвратиться обратно в клетку.

Атакующий класс обернулся и со всего маху врезал Михаилу Зощенко партийным постановлением.

Говорят, для писателя это было полной неожиданностью — ссылаюсь на Надежду Мандельштам:

"Бедный Зощенко оказался совершенно неподготовленный к удару... Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широкоэшелонным программам, сулившим всеобщее счастье... Многие не увидели перехода от народной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу перенесли свое отношение на вторую. Таков был и Зощенко, один из прапорщиков революции (по чинам он оказался к 1917 году повыше, но психологически он принадлежал именно к этой категории)..."

Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия".

Художнический инстинкт Михаила Зощенко и в самом деле обгонял, а то и опровергал рациональное его сознание. Вся беда была в том, что Зощенко не очень-то доверял своим догадкам, а они были — увы! — провидческими.

Поначалу он рассчитывал на то, что своими рассказами прощается с прошлым — постфактум выяснилось, что он безошибочно угадал в них сравнительно недалекое будущее: прогноз его был верным, хоть и осторожным, половинчатым. По начальным симптомам он диагностировал болезнь — стоит ли попрекать его в том, что он не указал на эпидемический ее размах?

Дело ведь не в психологическом типе хама, но в тотальном явлении хамства, неизбежном при той полной дегуманизации, а точнее, озверении бюрократического общества, которое произошло у нас в помрачительные тридцатые годы.

К этому времени Зощенко типизировал своего усредненного героя и резко противопоставил его монопольным тенденциям времени.

Прежний герой однако был исчерпан, саморазвитие его приостановлено, и нервная тревога Михаила Зощенко за чело века была слишком большой нагрузкой на усредненного и сугубо биологического его героя.

Другое дело, что и биологический минимум был к тому времени непозволительной роскошью.

Михаил Зощенко отказывается от своей литературной маски, ибо необходимость в ней отпала.

Герой, вызвавший у читателя презрение и сочувствие, страдание и содрогание, исчезает из нашей литературы.

Зощенко берется за новые темы и новые жанры.

Рассказов он пишет все меньше и меньше, и рассказы он пишет хуже, чем прежде...

"Голубая книга" была последней попыткой воскресить литературного героя, дать ему новую жизнь за счет расширения его литературных и нравственных прав.

Это попытка распространить свою литературную манеру с малого жанра (рассказ) на большой (философско-эссеистская повесть).

Это попытка создать универсальную нравственную систему, опираясь на прежнего своего усредненного героя: Горькому Зощенко сообщал, что он написал "краткую историю чело веческих отношений".

Это попытка испытать — чем черт не шутит! — свой литературный метод на историческом материале и, в случае удачи, счесть этот метод универсальным: "И вот, послунив палец, мы перелистываем пожелтевшие страницы бесстрастной истории".

Нечто среднее, колеблемое между "Опытами" Монтеня и "Декамероном" Боккачио, между сборником исторических анекдотов и циклом зощенковских рассказов.

"И, не отказываясь от сатиры, решили мы с этого момента

слегка, что ли, переменить курс нашего литературного корабля".

Беда в том, что решение это было вынужденное временем, хотя, как выяснилось чуть позднее, все-таки недостаточное...

В основной корпус "Голубой книги" вставлены прежние рассказы Зощенко: они заново отредактированы, их конфликты сглажены, стиль исправлен.

"Голубая книга" — это последняя дань Михаила Зощенко двадцатым годам, прощальный взгляд на свою литературную молодость, тщетное желание подвести итоги и произнести заключительное слово.

Как сказал бы князь Вяземский — "эпитафия себе заживо".

Звериным своим чутьем чувствовал Михаил Зощенко приближение страшных времен.

И понимал, что писателям в них несдобровать: либо складывай голову, либо меняй профессию! Недаром в разделе "Неудачи" много о писателях: Гаршин работал приказчиком в Гостином дворе, Спиноза шлифовал стекла, Тургенев посажен на съезжую, Полибий продан в рабство, а Сервантес в невольники, Дефо за сатирическую статью привязан к позорному столбу и буквально оплеван прохожими, афинские матросы и торговцы приговорили Сократа к смерти за неправильные философские воззрения...

"Черт возьми! Какие, однако, бешеные неудачи выпадали на долю мыслящей братии. Может, это случилось за то, чтоб поменьше думали, что ли. Наверно, так и есть. Прямо это как-то озадачивает".

Не только озадачивало, но и настораживало — в пору и в самом деле по примеру зощенковского героя обрасти шерстью, вырыть нору и завить зверем.

Гиблое время было не за горами — до тридцать седьмого года осталось меньше двух лет.

Это была последняя передышка: компромиссная, половинчатая, популярная и все равно уже не созвучная эпохе "Голубая книга". Уступка невеждам и палачам, но то, что для Зощенко было уступкой, для них звучало как очередной вызов.

Светило солнце, на балкон вышла женщина в лиловом платье, было 3 июня 1935 года, и Зощенко, устыдившись своего варварского занятия, поставил в "Голубой книге" последнюю точку.

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ХРОНИКА"

"Хроника текущих событий" № 49, 1978 \$ 5.00

В. Буковский
"И возвращается ветер...", 1978, 384 стр. \$ 12.00

В. Турчин
Инерция страха. Социализм и тоталитаризм,
1978 (второе издание), 296 стр. \$ 10.00

• • • • •

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ

А. Сахаров
Тревога и надежда. Один год общественной
деятельности АД. Сахарова, 1978, 198 стр. \$ 8.00

П. Григоренко
Сборник статей, 1977, 121 стр. \$ 6.00

СССР — рабочее движение? Сост. *В. Чалидзе*,
1978, 166 стр. \$ 7.00

А. Некрич
Наказанные народы, 1978, 170 стр. \$ 7.00

М. Иоффе
Одна ночь. Повесть о правде, 1978, 130 стр. \$ 7.00

М. Лунин, декабрист
Сочинения, 1976, 175 стр. \$ 10.00

Память. Исторический сборник, выпуск 1,
Москва 1976 - Нью Йорк 1978, 600 стр. \$ 15.00



Наталья АГРОСКИН

ЖЕНЩИНА У АЛТАРЯ ИСКУССТВ

Одно из знаменательных явлений современной западной цивилизации — движение за эмансипацию женщин, стоящее в одном ряду с социально-освободительными движениями века. Любопытно, что феминизм, в 60—70 годы принявший характер массового мирового движения, почти полностью миновал и обошел стороной русское захолустье, включая его самые передовые и даже радикальные ряды, зараженные духом свободлюбия и противоборства.

В русско-советском ареале культуры феминизм традиционно ассоциируется с мужеподобными суфражистками, "отрицательными" героинями тургеневской прозы, или с мифическим образом Фанни Каплан, полубезумной еврейской террористки, облаченной в пресловутую кожанку и из маузера стрелявшей в Ленина...

В современной советской жизни утвердилось несколько женских прототипов. Первый, народно-фольклорный и наиболее распространенный — баба-богатырь, баба-рабыня: женщина недюжинной физической силы, рожаящая детей, рабо-

тающая на тяжелых "мужских" работах, не покладая рук трудящаяся по дому и притом прибитая и рабски подчиненная мужу. Этот образ издавна культивировала русская литература, укрепившая легенду о самопожертвовании женщины-богатырши, "входящей в горящую избу", где нравственное превосходство над мужчиной означает велико терпение и мученичество, — поистине вершина женского мазохизма и унижения.

Еще один прототип — женщина "синий чулок", занятая карьерой и домашними хлопотами одновременно, измученная, загнанная, порой теряющая женский облик настолько, что и на женщину перестает походить. Далее — женщина несколько легкого нрава, которой на самом деле совсем не так легко, ибо, в отличие от любой цивилизованной страны, она даже материального вознаграждения за свои труды не получает, кроме разве что грубости и жестокости. Наконец, милая грустная барышня, скупаемая скукой на службе, в браке бесконечно копошащаяся на кухне и терпеливо сносящая адюльтеры шалуна-супруга.

ЖЕНСКИЙ БУНТ

Женские архетипы, существующие в России, безусловно были и на Западе, до распространения феминистских идей. Но там женское неравенство было слегка скрашено общим комфортом жизни, кухонным комбайном, посудомойкой, машиной и другими бытовыми удобствами, характерными для общества экономического благополучия.

Феминизм 60-70 годов, в отличие от воинствующих суфражисток начала века, вовсе не видит своим идеалом мужеподобную женщину, а, напротив, создает новый миф женственности, где гармонически сочетаются красота, элегантность, материнство, талант, профессиональные качества, внутренняя и социальная свобода.

Феминизм последнего времени зародился как движение женщин-психологов, вступивших в ярую полемику в своих научных трудах с фрейдистской теорией, объявившей разли-

чия между полами неразрешимыми, провозгласившей женщину существом низшего порядка, подверженную бесконтрольным эмоциям, неврозам и истерии.

Фрейд, указавший на различие в "эдиповом комплексе" мужчин и женщин, писал: "То, что в течение всей истории вменялось в вину женщине — что ей свойственно в меньшей степени, чем мужчине, чувство справедливости, что она чаще руководствуется в своих оценках и суждениях эмоциями, на самом деле объясняется особенностями строения женского "супер-я".

Бескомпромиссная позиция Фрейда, видевшего в женщине низшее существо, функциональный объект, явилась движущим толчком женского бунта.

Бетти Фридан, автор нашумевшей книги "Женская мистика", ознаменовавшей начало нового феминизма, опровергла теорию Фрейда, связав причины женской истерии и невроза с социальной неполноценностью женщины. Героиня документальной феминистской поэмы, принадлежащей перу американской поэтессы Дениз Левертов, помещенная в психолечебницу, формулирует тезис женского освободительного движения: "Мои психические проблемы излечимы, их может излечить только свобода".

Чем более успешна женщина в карьере, чем полноправнее в обществе, чем меньше погружена в домашнее хозяйство и семью, тем более полноценна и уравновешенна она как женщина. Феминизм призывал женщин отказаться от навязанного ханжеским обществом стереотипа сусальной красоты-домохозяйки, выйти из дому, начать работать и, став полноправным членом общества, обрести — благодаря карьере — душевное равновесие.

Женский "бунт", социальное и политическое движение, неоднородно по своим убеждениям, теориям и программам. Сторонники "профсоюзного" феминизма отстаивают равенство в социальных правах: принцип справедливости в приеме на работу, увольнениях и оплате труда. "Политический" феминизм сосредоточен на полноправии в политической жизни,

представительстве в парламенте, позволяющем женщинам отстаивать свои гражданские права.

Некоторые сторонницы феминизма провозглашают полную экономическую, психологическую, наконец, физическую, независимость женщины, не нуждающейся в мужчине ни в одной сфере жизни.

Женщины, взбунтовавшиеся против общества, построенного по "мужской модели", декларируют, что одиночество предпочтительнее мужской тирании. Среди феминисток находятся и так называемые "радикалы", в пылу своих обид на "мужской шовинизм" вовсе презревшие мужчин и образующие некие женские коммуны-семьи, подобно некогда существовавшим в древней Греции. Культивируя свой женский мир, они надеются избежать душевных травм и создать идиллическую гармонию сестринского равенства и безмятежной чувственной любви.

Несмотря на разную степень эмансипированности — от скромного желания быть равной мужчине в социальных правах и до радикализма женщин, пытающихся сконструировать модель "общества без мужчин", — все разновидности феминизма связаны в той или иной мере с социальным протестом, мечтой, где-то утопической, переделать мир, обрести в этом мире силу и власть, создать свой правопорядок. Не удивительно потому, что феминизм тесно связан с другими движениями социального протеста. Американские феминистки участвовали в движении против войны во Вьетнаме, были солидарны и с негритянскими выступлениями за социальные права, порой, стоя на "левых" социалистических, а то и неомарксистских позициях. К примеру, в такой стране, как Израиль, феминистские течения и феминистская партия примыкают к пацифистам, левому либеральному движению.

Интересно, что среди руководительниц и идеологов американского феминизма многие женщины — еврейского происхождения, а потому, думается, что их бунт связан с чисто национальным комплексом "униженных и оскорбленных" (недаром еврейские женщины выступили также против расизма так называемых WASPS, белых англосаксов, неприми-

римых к смуглым, темноволосым и темноглазым представителям человеческой расы).

ЖЕНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Феминизм — движение, преследующее определенную социальную цель, однако, общественными задачами не исчерпывается. Женское движение последних лет — прежде всего движение интеллектуальное, проникшее в психиатрию, психоанализ, социологию, выступившее со своим кредо в литературе, изобразительном искусстве, кино, критике, предлагающее свою концепцию культуры.

Феминистские теории, пробудившие женское творчество, сегодня ратуют за автономию женской культуры. Парадокс — феминизм, выступивший за равенство в правах и талантах с мужчиной, стремится обособиться в самостоятельную культуру, настаивая на неповторимости женского художественного опыта. Так, американская художница-феминистка Джуди Чикаго выступает с весьма тенденциозной декларацией: "Необходимо создать новую, женскую историю искусства, которая определит вклад женщин в мировую культуру, с женской точки зрения".

Приведу еще один отрывок из феминистского манифеста: "Опыт традиционно обходил стороной пол, класс, национальность, расу. Предполагалось, что существует единая, универсальная, общечеловеческая норма, не учитывающая ни половой, ни классовой, ни национальной принадлежности, но на самом деле утверждавшая принципы мужской, белой и аристократической культуры".

То равенство человеческого и художественного опыта, на которое претендовал феминизм, кажется, растворилось в стремлении осознать свою женскую исключительность и создать иную, не походящую на мужскую, цивилизацию.

Из художественных манифестов феминизма логически вытекает то, что даже самые воинственные феминистки признают разделение женщин и мужчин, и не только в сфере сексуальных признаков, как это делал Фрейд, но и в таких универ-

сальных, общечеловеческих и достаточно абстрактных сферах, как мышление и творчество.

Осмысливая самостоятельность женской цивилизации и культуры, феминизм обращается к мифу языческого культа Женщины-богини, облаченной высшей властью в эпоху матриархата. Феминизм окрыляет утопическая мечта о женской мощи, сверхъестественной женской силе, силе Эроса и Плодородия, державшей в повиновении мужской мир:

"Женщине-богине давно не поклоняются... Ее культ утерян... Мы, женщины, отдали приоритет исключительности мужчине. Но сегодня древний женский принцип вновь вступает в силу. Движимые страданием и обреченностью, вызванной распадом ценностей Эроса, мы обращаемся вновь к лунной матери, но не как к религиозному культу, а как к символу переворота в нашем сознании".

Феминизм подчеркивает, что творческая сила в своей основе представляет женские начала. Женщина, созидая органический мир в своей плоти, от природы якобы более творчески одарена, чем мужчина. Феминистские теоретики искусств приводят в доказательство языческий миф, согласно которому первым художником была девушка, запечатлевшая на камне портрет своего возлюбленного, когда тот отправился на войну.

Но этот романтический миф, непременно связывающий женское творчество с любовной страстью, находится в противоречии со всем ходом истории искусства. До сегодняшнего дня практически нет женщин-композиторов; до конца XIX — начала XX века женская живопись была крайне бедна и неинтересна; даже женская литература, за исключением, может, женских поэтических школ в Греции и на Востоке, до современного периода не была отмечена значительными достижениями.

Феминизм находит объяснение творческой беспомощности женщин в том, что вплоть до XX века женщина была закрепощена и подавлена жестоким мужским миром, а потому лишена всякого стимула и возможности творить. Отвергая несостоятельный "мужской" миф о женской интеллектуальной

неполноценности, я склонна видеть в возрождении интересной женской культуры не только знамение социальных перемен. Как бы ни были значительны завоевания технологического прогресса, изменившие физическое существование женщины, облегчившие ее быт, предоставившие ей "свою собственную комнату", необходимое условие творчества, о котором писала Вирджиния Вульф, тот внутренний переворот, произошедший в искусстве современности, более всего способствовал приобщению женщины к художественному творчеству.

В конце прошлого века распались строгие формальные каноны, жесткие архитектурные структуры, и на смену пришли свобода и раскрепощенность, иногда даже граничащие с хаосом и разбродом. Эмоциональность, экспрессивность, спонтанность и мимолетность сменили рациональные принципы, формальную дисциплину, виртуозность и техническое совершенство. В поэзии распад рифмы и строгой ритмической системы, развитие свободного стиха, вызвали к жизни талантливую женскую поэзию. В прозе психологизм, а позже "поток сознания", ценности новой эпохи привели в литературу женщин, и женское мироощущение, женская рефлексия сложились в необычайно интересный литературный эксперимент.

В искусстве, не ограниченном более запретами, табу, цензурой, новыми темами становятся эротика, мистерии женского организма в женском пересказе.

"Опрошение", стирание граней между высоким и низким, возвышенным и вульгарным, искусством и жизнью зашло так далеко, что сырого, необработанного женского опыта стало практически достаточно для создания литературы, подобной прозе и поэзии Эрики Йонг, где происходит полное смешение жанров литературной исповеди и порнографии.

Те грани и преграды, запреты и табу, которые воздвигло "высокое" искусство мужчин в эпоху гуманизма, были сметены авангардными процессами века. Дух перемен и новизны расширил рамки современного искусства настолько, что "впустил" туда и женщину, которой раньше вход в храм искусства был если не запрещен, то строго ограничен.

ЖЕНЩИНА И НОВЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ

В изобразительном искусстве новой эпохи, разрушившем барьер между эстетическими, функциональными и декоративными элементами, женское присутствие ощутимо. Фигуративных художниц, Кэти Кольвиц и Мари Лоренсен, занимало построение женского образного мира, изображение женской чувственности и страсти, материнства и боли, старости и смерти. Женщинам принадлежит немаловажная роль в утверждении абстрактного искусства начала века. Знаменательно, что многие женщины-художницы были связаны любовными и семейными узами с ведущими художниками, первооткрывателями абстрактных направлений. Сподвижницы своих мужей, хотя и не выступавшие в униженной роли "жен художника", эти женщины не были полностью независимыми творцами. Именно в авангардных течениях века, когда формировалась новая эстетика и новый живописный принцип, особая роль принадлежала коллективному труду, и здесь сотрудничество с женщиной, обладающей утонченным пластическим чутьем, оказывалось незаменимым подспорьем.

Особо велик вклад женщин в достижения русского авангарда начала века. Среди заметных имен — Александра Экстер, писавшая артистичные натюрморты кубистского стиля, Любовь Попова, Ольга Розанова, Варвара Степанова (жена Родченко), известные своими работами в промышленном дизайне и конструктивистской живописью, Наталья Гончарова (жена Михаила Ларионова), вместе с мужем разрабатывающая визуальные принципы "лучизма", Соня Делане (жена Роберта Делане), совместно с супругом создавшая пластическую систему и теорию цвета "орфизма".

Женщины русского авангарда, одаренные дамскими талантами рукодельниц-мастериц, наиболее органично выразили центральную тенденцию нового искусства — его стремление к универсальности. Русские художницы, работая с Дягилевым и Стравинским, оформляли балеты и спектакли, занимались книжными иллюстрациями, оформительскими рабо-

тами в дизайне промышленности, интерьеров, мебели, ковров, тканей и мод.

И все же, несмотря на жанровую широту, их творчество носило в некотором смысле вспомогательный характер. Мужья и возлюбленные создавали новую эстетику, открывали новые законы пластики, в то время как женщины проверяли, испытывали, развивали абстрактные живописные принципы.

Работы русских художниц, за исключением Сони Делане, несут печать вторичности и несамостоятельности. Удивительно, что Соня Делане — художник более оригинальный и яркий, чем ее муж, — не выставляла своих живописных работ при его жизни, словно признав, как непреложную истину, женскую неспособность к новаторству в искусстве.

Тенденция к вторичности, заимствованиям, замеченная в женском искусстве русского авангарда, представляет собой общее, универсальное свойство. В супружеском союзе художников Джексона Поллока и Ли Кразнер прослеживается та же зависимость между художественной силой, самобытностью и "женским" началом. Тогда как Джексон Поллок был одним из самых смелых и решительных первооткрывателей абстрактного экспрессионизма, создавший новаторский живописный принцип "искусства без берегов", творчество Ли Кразнер бледнее, слабее, менее плодотворно.

Если в абстрактное искусство женщины внесли посильный вклад, однако, не смея подняться или не осмелясь претендовать на роль новаторов, то в авангардных течениях самого последнего времени, преодолевших границы традиционной живописи, женщинам принадлежит достаточно почетное место.

Я полагаю, что успех женщин в авангардных формах искусства не столько связан с расцветом феминизма, сколько с внутренними особенностями синтетического жанра, позволившего в своих рамках органично адаптировать женский опыт. Ведь, действительно, в задачи, которые пытаются поставить и решить новые формы искусства, вовсе не входит живописный принцип точности и убедительности, а лишь стремление к безгранично свободному выражению личности автора. Жизненный опыт, включая самый интимный, автобиография, перео-

смысленные в миф, становятся новыми темами нового жанра.

Опыт более не отчужден от его носителя, а преподносится в "натуральном" виде, становясь искусством. Женщина, обычно анализирующая общее, универсальное через интимное и личное, пропускающая мир через призму своего женского "я", может в таком искусстве совершенно непосредственно выразить свой психический мир, сознание и подсознание.

В искусстве сегодняшнего дня, пожалуй, испробовавшем уже все и вся, пресыщенном техническими новациями и экспериментами, личность автора — "персоналити" — остается единственным, что еще может возбудить интерес. Сконцентрированная на своей личности больше чем мужчина, познающая себя перед зеркалом в ритуале женского туалета, имеющем символический смысл, женщина наиболее свободно и откровенно выражает свое "я" в новых формах искусства. Более того, в искусстве современности, в определенной степени исчерпавшем себя, женщина нередко передает то свежее дыхание жизни, связанной с природными и органическими процессами мира, чей непреходящий драматизм неустанно продолжает волновать. Когда не точность пластического исполнения, не мастерство, даже не идеал красоты, а забавная выдумка определяют художественную ценность, тогда женский опыт, доселе миновавший сферу искусства, обретает значительность и убедительность, претендуя на роль художественного открытия.

Упомяну несколько, на мой взгляд, ярких и нетривиальных, авангардных работ-проектов, авторы которых — женщины.

Художницу Мэри Бет Эдельсон занимает женская символика, женский миф, женский ритуал. Самая популярная работа "Некоторые Американские Художницы" примыкает к поп-арту и построена на основе поп-артистского приема. Остроумная художница заменила мужские образы в репродукции картины Леонардо на портреты современных женщин-художниц. Презревшая христианский принцип доминирования мужчин в обществе, Эдельсон обращает женское присутствие в искусстве в религиозный культ, создавая иконогра-

фию, где творческая женщина предстает в роли апостола, достойного благоговейного поклонения.

А вот более смелые и неожиданные эксперименты женщин в авангардном искусстве. Мэри Шаффер, принадлежащая к направлению "искусства среды", используя "женские" материалы, ведет повествование о себе. Она передает свое смещение и ужас, ужас женщины перед оказавшимся в ее руках технологическим миром, свое ощущение женской незащитности перед космическими силами разрушения. Работа "Горящее белье" уже в самом процессе осуществления предполагала создание ситуации риска и запрета, преодолеваемого женской отчаянностью. Художница — в процессе работы — научилась, подавив страх, проводить высоковольтное электричество по сконструированным электропроводам. Повесив на электрических проводах — бельевых веревках — предметы "стирки" из невоспламеняющихся материалов, художница, игнорируя меры безопасности и температурные ограничения, привела материалы в состояние горения. Работа проводилась тайно, в атмосфере неуверенности, страха быть пойманной полицией и уличенной в нарушении технических запретов. В течение получаса "стирка", повешенная на электрических проводах, загоралась бушующим пламенем, "белье" метало искры и постепенно обугливалось. Темы разрушения, смерти в огне, эмоциональное переживание ужаса перед стихией организуются в ритуальный обряд сжигания женской стирки, настолько драматичный, что он как бы становится в ряд эстетических явлений, то есть становится искусством.

В работе этой "художницы среды" зримо присутствует элемент драмы, театра, ибо автор необходимо связан с присутствующей публикой, воспринимающей создание объекта, созидание формы, как увлекательное зрелище. Не случайно в искусстве зрелища, в "хэппенинге", женщинам-художницам принадлежит немаловажная роль.

Так, в Калифорнии феминистский хэппенинг явно превагирует, и уже названия этих экспериментальных работ "Три женщины", "Роды", "Глажка", "Гениталии" хэппенинг свидетельствуют о давящем присутствии женской тематики.

Нэнси Буханан использует женские волосы как материал для своих "скульптур" и хэппенингов, в которых она складывает свой женский миф. Ее первая работа — ковер из женских волос, — по которому публике предлагалось пройти босиком. Развитие фетишистского символа в ритуал наблюдается в последующем хэппенинге — "Пересадка волос".

Галерея превращена в стерильную, сверкающую белизной операционную. Двое участников: мужчина (в роли пациента) и женщина, сама художница (в роли хирурга). Пациента раздевают, сбрасывают его усы, а затем и все волосы с его тела. Она отрезает свои длинные, до колена, пышные рыжие волосы. Она наклеивает свои волосы на гладкое тело мужчины. Она раздает оставшиеся локоны публике...

В этом зрелищном акте, может, лишь в орнаментальном использовании цвета, ослепительно-белого и огненно-рыжего, сохранившего отдаленную связь с тем, что мы привыкли традиционно считать "пластическим искусством", символике и ритуалу принадлежит ведущая роль. Бытовое событие (стрижка) осмысливается и используется здесь в качестве ритуального действия, как в древних цивилизациях. Бритье женщиной волос в религиозном обряде, как, например, в ортодоксальном иудаизме, означало подавление женской эротической силы. Кстати сказать, этот религиозный обряд для женщин-феминисток символизирует лишение женщины свободы и подчинение ее мужчине. "Чтоб властвовать — срезали старобрядные евреи кудри своих невест" — так трактует этот ритуал американская феминистская поэтесса Рут Уитмен.

Но вернемся к хэппенингу: передача в ритуальном акте женских волос мужчине самой женщиной-хирургом, осуществляющей "трансплантацию", подчеркивает феминистскую направленность этого зрелища. Интересно и совершенно оправдано то, что в женских хэппенингах ритуал почти всегда является телесным ритуалом, ибо женское мироощущение, сознание своего "я" прежде всего строится на сознательном осмыслении своего тела и телесных функций.

Тема тела и телесного ритуала господствует в хэппенинге "Омовение", задуманном лидером феминистского искусства Джуди Чикаго и ее коллегами.

Три ванны. Вокруг, в хаотическом беспорядке, груды яичной скорлупы, почки животных, цепи, веревки. В одной ванне — яичная масса, в другой — кровь, в третьей — глина. Две женщины погружают себя, медленно и последовательно, в приготовленные для них ванны. Когда вторая женщина погрузилась в последнюю ванну, с глиной, обе неожиданно встают, обмазанные с ног до головы цветным месивом, и так возвышаются, торжественно и величаво, как фигуры женских идолов.

Появляется новая женщина, педантично подвешивающая почки животных к стене. Появляется еще одна женщина, держащая наготове веревки. Она обматывает веревками тела участниц. Одну бинтуют с ног до головы и приковывают к стулу. Остальные связаны друг с другом веревками. За сценой, на протяжении всего действия, крутится магнитофонная лента с рассказами женщин, испытавших травму изнасилования.

Место действия походит на комнату, густо покрытую паутиной, где женщины — жертвы, зятянутые обстоятельствами и судьбой в паучье логово. Хэппенинг завершается исповедью, записанной на пленку: "Я чувствовала себя такой беспомощной, такой бессильной, что могла только лежать и тихо всхлипать".

В хэппенинге переосмыслен ритуал омовения, традиционно связанный с телесным очищением и духовным просветлением после периода "нечистоты": омовение иронически и негативно интерпретируется как загрязнение, где женщина, скованная путями обстоятельств, непременно становится жертвой насилия, добычей хищника.

Зрелища, о которых шла речь, нарочито неэстетичны, омерзительны, отвратительны своей откровенной, неприкрытой "физиологичностью", и в них демонстративно отвергаются традиционные представления о женской красоте, очаровании и симпатии. Показывая резко, беспощадно женское безумие и женскую агрессивность, феминистки, надо полагать, рассчитывают на лечение публики "шоком". Как бы то ни было, в этих человеческих признаниях кроется немало убедительной

силы, а автобиографичность, принимающая форму авторского "телесного" присутствия, сливает воедино искусство и жизнь. Такая концентрированная передача женского переживания достигается синтезом, совмещением пластических форм, театрального действия, цвета, звука, словесного сообщения. Необыкновенно важна и временная "покадровая" сменяемость, подчеркивающая в таком искусстве его неделимость с реальностью.

Конкретизирующий, необыкновенно правдивый женский опыт, который стал искусством, стоит в определенном противоречии с центральной идеей феминизма — идеей равноправия. Феминистское искусство в каком-то смысле ниспровергает тезис о равенстве, доказывая нетождественность женского и мужского художественного опыта.

Когда женщины стремились в искусстве к универсальности, не будучи феминистками, в результате рождалось вторичное, неоригинальное искусство. Когда же, напротив, женщины, стремящиеся к созданию уникального, женского, феминистского искусства, опозитивировали свой ежедневный женский опыт, то — по свидетельствам авторитетной критики — в определенных авангардных жанрах они создали сегодня значительное и интересное искусство, "...сегодня лучшие из феминистских работ являются самыми блестящими и впечатляющими среди всех работ в жанре хэппенинга в Калифорнии", "...действительно, именно женщинам принадлежат сегодня самые новаторские шаги в искусстве среды".

Некоторые из израильских художественных критиков также отмечают, что сегодня, в период застоя, когда мужчины, кажется, выполнили свое, женщины берут верх и лидируют во многих жанрах. Действительно, в этой стране воплощается языческий миф о создании искусства женщиной; когда мужчина занят на войне и каждодневными заботами о хлебе насущном, женщина возрождает в обществе преданный забвению творческий идеал...

Мне видится, что женское искусство, связанное с феминизмом, заново и в достаточной степени верно осмысливает понятие женственности. Не стремясь к неперемennomу торже-

ству мужского начала, Логоса, это искусство выражает идею женственности, Эроса, в формуле женского художественного опыта. Мечтая о гармоническом женском бытии в мире, а потому вряд ли претендуя на создание новой живописной системы, углубясь в свои узко женские проблемы, женщина создает оригинальный и неповторимый "женский" стиль.

Так, женская жизнь складывается в искусство, а его убедительная сила, в свою очередь, обращается женским бунтом, возвращающим женщине личную и творческую свободу, приводящую ее к алтарю Искусств.

третье издание,
исправленное и дополненное
литературных воспоминаний
АНДРЕЯ СЕДЬХ

ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ
(с иллюстрациями)

Воспоминания о Бунине, Шалапине,
Алданове, Рахманинове, Бурцеве,
Ремизове, Глазунове, Кусевицком,
Шагале, Тэффи, Дон Аминадо,
Саше Черном и мн. др.

Цена 8 долларов с пересылкой.
Изд. Нового Русского Слова.
Заказы направлять по адресу:
Novoye Russkoye Slovo
243 West 56 St. N. Y. 10019.

"ВРЕМЯ И МЫ" В ЗЕРКАЛЕ МИРОВОЙ ПЕЧАТИ

В парижском издательстве "Альбин Мишель" вышел в свет альманах, куда были включены лучшие произведения, опубликованные в журнале "Время и мы". Среди авторов альманаха Виктор Некрасов, Борис Хазанов, Ицхак Мерас, Наталия Рубинштейн, Лев Меламид и другие. В этом номере мы публикуем рецензии, мнения и отзывы ряда европейских газет и журналов о французском альманахе "Время и мы".

Ле депорте, октябрь-ноябрь 1978

Девять советских писателей, некоторые из которых в прошлом — члены партии, вынуждены были оставить Россию, чтобы эмигрировать в Америку, в Израиль или в Европу. Единственный мотив — их еврейство. По всякому, даже малейшему поводу, они должны были показывать паспорт, в котором их "национальность" была обозначена словом "еврей". В результате создавалась тяжелая ситуация прежде всего для их детей, которые стремились продолжать свое образование. Возник непроходимый барьер для тех, кто стремился к официальной карьере дипломатов, политических деятелей, литераторов и т.п.

Сборник новелл, публикуемых под общим заголовком "Время и мы", показывает Советскую Россию так, что дальше невозможно игнорировать ее действительность: ядовитый антисемитизм, скроенный по худшим предписаниям доктора Геббельса и замаскированный камуфляжем "антисионизма",

склеротическая окостеневшая партия, поддерживаемая мощной вездесущей полицией, панический страх жителей, от которых требуется абсолютная послушность; инстинктивная тяга ко всему тому, что на Западе дает людям свобода.

Мы, депортированные французы, записывали в час освобождения адреса наших товарищей из Бельгии, Италии, Югославии, Испании, Голландии и т.д. Так мы поступали и с нашими русскими друзьями, которые впоследствии ни разу так и не ответили на наши письма, и о которых мы никогда больше не слышали.

В связи с этим вспомним текст одного из рассказов сборника "Время и мы", наводящий на нас дрожь — человек убежал из Дахау!.. из Дахау!., встретил конец войны среди партизан и затем вернулся в Москву. Там он, конечно, был арестован и получил десять лет — обычный приговор для тех, кто вернулся из немецких лагерей.

Когда я пишу эту статью, я думаю о молодом пареньке Сашке, которого я помню только по имени. Он рассказывал мне о своем сибирском селе, покрытом снегом восемь месяцев в году. Будучи слишком молодым, чтобы быть мобилизованным в армию, он воевал с партизанами на Украине, участвовал в боях против германских войск и, наконец, был ранен, попал в плен к немцам, которые послали его в Бухенвальд. Он, этот бравый, милый Сашка, также получил десять лет в наказание за его героизм и, может быть, не вышел живым из всех испытаний, которые ему пришлось пройти.

М.В.

Ревю де ВИЗО. Июль 1978

Девять рассказов и статей, которые включены в этот сборник, опубликованы в журнале "Время и мы", издаваемом на русском языке в Тель-Авиве. Они свидетельствуют об интенсивной деятельности русско-еврейских интеллектуалов, часть которых находится еще в России, а другие — уже в Израиле. Одна из них, Наталья Рубинштейн, говорит, что они еще не израильтяне, но, несмотря на то, что они перестали быть рус-

скими, они остались вне всякого сомнения писателями из Москвы, из Ленинграда, из Киева. Их вклад в израильскую культуру неоченим. "Мы не пришли с совершенно пустыми руками. В нашем багаже слова, которые еще не сказаны". Это — новая литература, построенная на базе старого русского языка усилиями молодого еврейского поколения, которое чувствует себя свободным.

Ле Нувель Литерэр. 7 июня 1978

Эта книга содержит работы девяти писателей на русском языке, опубликованные в оригинале в журнале "Время и мы" в Тель-Авиве. Большинство авторов недавно покинули СССР. Если до сих пор к нам в голову приходила мысль, что советские евреи хотят эмигрировать в Израиль, то теперь такая мысль вычеркнута навсегда: перед нами изгнанники, а книга — не что иное, как крик боли и гнева по адресу Родины-Матери. За исключением одного рассказа на восьми страницах, все тексты посвящены России, в особенности, Москве, воспоминаниям, дружбе, любви, шуму и запахам, исчезнувшим навсегда.

Трагичность их положения поражает при первом взгляде, как удар бича. Какими бы мы ни были космополитами, не трудно вообразить, что означает столь радикальный разрыв со всеми связями, со всеми корнями. Литературные суждения приходят лишь позже.

Особое внимание заслуживают три статьи. Майя Каганская, в удивительной и насмешливой манере она анализирует разные культурные явления в современной России. Интересны также две новеллы Бориса Хазанова, ирония которого не затмевает пробуждаемых чувств. Он, кажется, единственный из девяти, который остался еще в СССР. Поэтому его третья новелла обращена в будущее, в отличие от других. Но какая сумасбродная надежда создать в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии "Новую Россию", страну для свободных русских людей.

Пьер Энкель

Ла Пресс Нувель Хебдомодэр. 20 октября 1978

На полях принято записывать примечания, мысли и оценки на темы, обсуждаемые в тексте. Так измеряют уровень наноса реки после отлива.

Эти люди и их сочинения оказались как будто бы на полях их времени. Они несут особого рода свидетельство тех, кто находится (или находился) внутри и за пределами России. Было ли это желанием удалиться от времени или от обстоятельств? Их произведения уходят в изгнание и создают потребность в других местах, более реальных, более фантастических. Именно так: реальных и фантастических. Такова картина нарисованная девятью советскими писателями. Они показывают бюрократию, абсурдность которой граничит с метафизикой. Как тот вокзал, к которому никогда не приблизится поезд, но администрация его процветает, как та газета, в которой подавляется всякое воодушевление, не говоря уж о преследованиях, доносах и антисемитизме — явления, увы! опасные и угрожающие существованию даже такой невинной личности, как добрый Абрам Лазаревич Юфа, который накануне выхода на пенсию вздумал эмигрировать в Израиль.

Каждое из этих произведений представляет свой особый интерес и заставляет нас признать, что перед нами придушенная оригинальная культура, которой не хватает лишь немного кислорода, чтобы показать себя и дать возможность расцвета подлинным талантам.

Л'Арш. Июль 1978

"Двадцатое столетие не было легким для евреев. Мы барахтались между Сталиным и Гитлером" — пишет Наталья Рубинштейн, одна из девяти писателей, участвующих в ежемесячном журнале "Время и мы", который издается в Тель-Авиве на русском языке.

Как и большинство советских интеллектуалов, русские евреи знают только русский язык. На этом языке они рассказывают о несчастьях евреев и русских. О чем они говорят? О страхе. Потому что жить для нас, подчеркивается во вступительной статье, давно уже значит — бояться. И мертвый отличается от живого лишь потерей страха. Страх принимает разные формы. Одна из поразительных форм описана в рассказе Бориса Хазанова "Страх". Светлана становится, наконец, любовницей молодого человека, который уже несколько месяцев думает о ней. Но вот отец Светланы арестован, и молодой человек бежит от нее, как от заразы. Даже мысль о попытке удержать ее теперь кажется ему никчемной. Каким же должен быть политический режим, который убивает первую любовь!

Некоторые евреи, из-за своего рода подсознательных причин, как бы игнорируют этот страх. Виктор Некрасов рассказывает о таком случае с коммунистом Юфой. Безукоризненный инженер, храбрый солдат во время войны, он неожиданно захотел выехать в Израиль. Просто так, без всякой причины, по крайней мере в глазах начальства. Он не останавливается перед препятствиями большими и малыми, которые валяются на его голову и, в конце концов, убивают его с помощью бюрократического ритуала гражданской казни. Чтобы победить страх, необходимо, чтобы родилось внутреннее отвращение.

Таким был случай с Виктором Перельманом. Он был заведующим отделом в "Литературной газете", где властвует стандартная ложь в соответствии с директивами Центрального Комитета и именуемая "ленинской заботой о литературе и искусстве". Эта газета — зеркало советского общества, где никакие ценности не существуют сами по себе: ни интеллигентность, ни талант, ни человеческая совесть.

Кроме повестей, "Время и мы" содержит также два очерка, которые помогают глубоко понять несчастье русских евреев. В первом из них Майя Каганская, покинув Россию, показывает ее в разрезе пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов. Она приходит к выводу — в России время мертво.

Хазанов, который остался в Москве и публикуется в Самиздате, объясняет, почему он не может выехать. "Я не могу представить себя живущим в стране, где русская речь нема. Россия — моя единственная родина. Я не могу жить нигде, кроме этой мнимой родины".

Русский еврей, борется ли он за получение визы на выезд, или остается в России, — не может не страдать. Мужчины и женщины говорят об этом с трогательной простотой в этом сборнике, который Наталья Рубинштейн в своей вступительной статье сравнивает с "Ноевым Ковчегом, который не селся неизвестно куда на волне последней русской эмиграции".

Ле Пэризьен Либере

Это сборник современных русских рассказов, как, например, "Сладкая жизнь Никиты Хряща" или автобиографическая повесть Виктора Перельмана "Гайд-Парк при социализме" (как иронически называют в Москве "Литературную газету") — все это произведения высокого уровня, взяты из одного журнала "Время и мы", который печатается на русском языке в Израиле. Это рассказы писателей-евреев, приехавших из Советского Союза. Кроме литературного, социологического и политического интереса, тот факт, что такой журнал существует, красноречиво свидетельствует, что в настоящее время еще больше, чем при царизме, русскоязычные писатели могут печататься только за границей.

Информацион Жиоиф

Девять писателей-евреев из России, которые проживают в настоящее время в Израиле, печатают повести и рассказы в одном сборнике, который прекрасно отражает их духовное

родство — так как они относятся к одному поколению и выпили одну и ту же горькую чашу. Поражает в этой книге то, насколько эти мужчины и женщины, вдали от Родины, изгнанные из Русской жизни, изгнанные не только властями, но и "народом" — неотрывно связаны с русским языком, русской культурой. Когда мы говорим, что во Франции евреи слишком ассимилированы, то мы, вероятно, допускаем ошибку — если сравним наших евреев с теми, кто живет в Иерусалиме и плачет по Киеву. Расин куда меньше волнует нас, чем их души задевает Чехов.

*Перевод с французского
Оры Чечик и Шабтая Бейт Цви.*



Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ

МОЙ ДИАЛОГ С ХРУЩЕВЫМ

К 1962 году, когда на выставке 30-летия МОСХа я впервые встретился с Хрущевым, за моими плечами был уже немалый жизненный и художественный опыт. Семья, пережившая ужасы сталинщины. Отец — белый офицер, мать — биолог и еврейская поэтесса. Наконец, сам я, солдат и офицер, прошедший почти через всю войну. Затем тяжелые послевоенные годы, университет.

Лепить я начал еще в детстве, но почти всю жизнь метался между искусством и биологией. И еще между искусством и философией — учась в художественном институте, я одновременно занимался на философском факультете МГУ.

Должен сказать, что я и мои друзья никогда специально не стремились к нонконформизму или к какому-то особому пути в искусстве. В молодости мы старались овладеть мастерством живописи, рисунка. Выйдя из войны, где каждому пришлось немало хлебнуть, мы и дальше старались идти прямой дорогой. Так что если и можно говорить о моем каком-то особом почерке художника и скульптора, то складывался этот почерк естественно.

Как скульптор, я довольно рано получил признание и к 1962 году уже не раз завоевывал премии на Всесоюзных конкурсах. Однако это признание не было официальным. Официальное признание имели другие — ортодоксальные "мастера" соцреализма, такие, как Вучетич, Герасимов. И вот над ними-то после XX съезда партии и нависла грозная опасность. Дело в том, что в ревизионные комиссии творческих союзов входили, в основном, люди, пострадавшие и отсидевшие. Считалось, что они могут быть наиболее беспристрастными судьями при ликвидации последствий "культы личности" в искусстве. И в начале они, на самом деле, действовали смело и энергично.

Так, ревизионная комиссия Союза художников разоблачила "деятельность" супермафии скульпторов и художников. По документам и свидетельским показаниям выяснилось, что крупнейшие художники периода Сталина обманывали даже самого Сталина.

Хорошо известно, что в Советском Союзе есть один работодатель — государство. В эту щель стремятся все, потому что нет другого места, где можно получить заказ. Особенно кровавая борьба за пирог идет на поприще скульптуры, борьба, которая действительно приобретает гангстерский характер.

Если проанализировать структуру взаимоотношений скульптора с государством, то внутри так называемого социалистического государства скульптор представляет собой некую докапиталистическую мануфактуру — берет подряд и получает все деньги, поэтому важно быть не столько талантливым скульптором, сколько хорошим субподрядчиком и менеджером.

По существу, все ведущие скульпторы СССР — не есть мастера в западном смысле слова, это — мастера социальной комбинаторики и умения выбить заказ. Считается, что произвести всегда можно, наняв менее ангажированных, но не менее талантливых коллег.

Борьба за право получить заказ иногда принимает подлинно драматический характер. Это, по существу, дикий Запад, вестерн, но только в России. Обычно тут говорят так: не важно, что ты сделал, важно, кто открывал твой монумент.

В скульптуре существует строгая иерархия заказа. Если ты делаешь Маркса, скульптуру будет открывать первый человек партии того города, где устанавливается монумент, а, может быть, и всей страны. Значит, надо получить скульптуру, которая тянет еще до свершения на Ленинскую премию. И здесь пускается в ход весь социальный опыт, наглость, хитрость и изощренность.

По этому поводу я хотел бы сделать сценарий, содержание которого попробую изложить. Сценарий мной назван "Монумент".

В среде художников становится известно, что сверху должен быть спущен заказ на главный монумент, и начинается интрига. Интрига разрастается. Она рождается в мастерской скульптора и оттуда попадает в недра Союза художников, затем поднимается наверх, в ЦК, она охватывает армию и КГБ, распространяется по всей стране, от Владивостока до Бреста. Подключаются пионеры и пенсионеры, домработницы и стукачи, сталевары и животноводы. Интрига приобретает гротескные размеры: вся страна разделилась на партии, помогающие разным скульпторам.

В конце концов, заказа добивается самый ловкий, беспринципный и хитрый. Он добивается заказа и от радости получает инфаркт. Но не беда: монумент можно сделать и без него, поскольку сам он никогда не работал. И пока он лежит в больнице, его помощники, безвестные работяги, производят монумент. К моменту открытия скульптор выходит из больницы и, побрившись, спешит на празднества.

Стройными колоннами идут чекисты, армия, танки, пенсионеры и пионеры, дворники и металлурги, доярки и стукачи. Гремят фанфары, едут черные правительственные машины. Выходят, придерживая сползающие брюки, руководители. Самый главный, в раскорячку, под салют, подходит к монументу и сбрасывает покрывало. И вдруг, перед лицом страны стоит маленький человечек, в рваном пиджаке, плохо вылепленный, падающий с пьедестала и показывающий рукой прямо на сортир. Но все это неважно. Под гремящие салюты и

аплодисменты автору вручается Ленинская премия. Если нужно сделать гения, партия его назначит — скульптор станет гением.

Разумеется, это гротеск. Но как часто реальная жизнь, особенно во времена Сталина, была близка к нему!

Было, например, установлено, что когда скульптор Вучетич, конкурирующий со своими коллегами за лучшее изображение вождя, пришел в приемную Сталина, он спросил Поскребышева, глядя на фото, представляемые им Сталину: "Какие же из этих скульптур могут понравиться Иосифу Виссарионовичу?" На что Поскребышев сказал: "Я думаю, эта". Это была скульптура конкурента Вучетича Кибальникова. Вучетич взял и под этой работой написал свою фамилию.

Когда Сталин ее утвердил, разразился скандал, но уже ни Поскребышев и никто другой не решались доложить Сталину об этом изощренном и смелом обмане.

Таким образом Вучетич стал работать по модели Кибальникова и заделался любимцем Сталина. Он поставил 27-метровый монумент вождя на Волго-Донском канале. Затем проделал еще один удивительно гангстерский фортель.

Когда упомянутая скульптура была выполнена силами заключенных, неожиданно собралась комиссия и установила, что та медь, из которой делалась скульптура, якобы не соответствует требуемой прочности. Тогда Вучетич написал наверх докладную, и ему были отпущены новые деньги и новая медь. Однако новую скульптуру он не сделал, а оставил старую. Деньги же поделили, а медь закопали в землю. Но среди делящих деньги произошел разлад, и один инженер, якобы руководящий этой работой, был Вучетичем посажен. Когда он вышел из тюрьмы, то дал свидетельские показания, проливающие свет на эту историю.

Такого рода гангстерская деятельность осуществлялась в разных направлениях — в финансовых, идеологических, личных, и все это было отражено в документах. За их достоверность я не могу поручиться, но, забегая вперед, скажу, что после моего столкновения с Хрущевым в Манеже авторы этих документов страшно перепугались. Тогда один из них —

пожилой человек, член ревизионной комиссии — тайно принес копии этих документов мне, сказав, что ему уже нечего терять, зато все это может мне помочь в борьбе с художественной супермафией. Я сшил в своем пиджаке большой карман и всегда носил эти документы с собой.

Так или иначе, ситуация, сложившаяся в Союзе художников к началу шестидесятых годов, была отнюдь не простой: с одной стороны, в искусство шли новые силы, не желающие терпеть засилие художественных мафий, но, с другой стороны, располагающие колоссальным влиянием и связями мафианские группы не собирались сдавать своих позиций. И когда группа молодых, возглавляемых художником Билютиным, была приглашена для участия в выставке 30-летия МОСХа в Манеже, меня это насторожило.

Весьма странным выглядело само построение экспозиций. На видных местах были расположены работы нонконформистов, отнюдь не пользовавшихся благорасположением партии — и, напротив, работы советских классиков-мастодонтов каким-то образом оказались в тени, на заднем плане.

Я немало сомневался — принимать ли мне участие в этой выставке, в каких целях ее проводят и что значит это странное расположение работ? Но, с другой стороны, Билютин убеждал меня, что наступают другие времена и что партия и ЦК намерены глубоко разобраться в делах художников. Необходимо лишь показать наши возможности, и выставка в Манеже предоставляет нам такой шанс.

Обстановка была страшно нервная. Мы работали всю ночь, и среди художников, которые находились в Манеже, было много нескрываемых агентов. Особенно это стало ясно к утру, когда пришел начальник правительственной охраны. Он заглядывал под столы, простукивал бронзу, видимо, боясь бомб или магнитофонов. Произошел довольно забавный эпизод. Когда я спросил его: "Вы что, действительно такой-то?" "Да-да", сказал он, не скрывая. Тогда я указал на окно, которое просматривалось с противоположной стороны Манежа, со стороны Университета. И как офицер, с некоторой долей пижонства, сказал, что если он действительно заботится о

безопасности Хрущева, то ведь с той стороны вполне можно стрельнуть и во всяком случае увидеть, как к нам, в комнату, по лестнице будет подниматься правительство. Он взволновался, послал туда несколько человек, чтобы забить окно. Но было поздно — в Манеж прибыло правительство.

Мы были измотаны, небриты. Бросилась в глаза небезынтересная деталь, которая мне сейчас вспоминается. Студия Билютина, довольно широко представленная в Манеже, состояла из людей разных национальностей. И, в частности, не было никакого перевеса евреев. Но каким-то странным образом в Манеж были приглашены в основном евреи, причем, с типично еврейскими лицами.

Уже тогда я почувствовал некий привкус провокации. Кстати, об этом я сказал Леве Копелеву, который был с друзьями внизу, в залах выставки, в то время, как наверху шла подготовка экспозиции. Мы с ним гуляли по залам, и я, обратив его внимание на присутствующих, заметил: "Не понимаю, что происходит, Лев, провокация это или не провокация?" Он сказал: "Я тоже многого не понимаю, может быть, "да", может быть "нет". Мне трудно судить".

Кстати, Копелева я очень любил, познакомились мы с ним следующим образом. В 1956 году у меня, вместе с другими художниками, была однодневная выставка в МОСХе, где меня очень сильно и неаргументированно критиковали. И вот встает бородатый красавец и просит председательствующего, главу МОСХа Шмарина, быть осторожным. "Сейчас, говорит он, вы критикуете художника уровня Маяковского и Брехта. Поэтому ваши фразы становятся историческими, и я вас прошу быть осторожными..." На вопрос, от чьего имени он выступает и кто он такой, он очень вальяжно сказал: "Во-первых, я говорю от собственного имени. Я — Копелев, и во-вторых, я говорю от имени критиков Союза писателей", чем вызвал некоторое замешательство. После этого я к нему подошел и сказал: "Вы мне выдали такой аванс, что я просто обязан серьезно работать". Так вот тогда, в Манеже, у нас у обоих возникла мысль о возможной провокации.

Наконец, в здание входит Хрущев со свитой. Мы находимся наверху, но до нас доносятся крики и вопли уже снизу, там происходит некий шабаш.

Какой это был шабаш, я не знаю, потому что я в нем не принимал участия. Но когда нас выстроили в ряд, перед лестницей на верхней площадке, все мои друзья евреи, создав некий круг (это был почти Биробиджан), начали аплодировать поднимающемуся Хрущеву. Их аплодисменты слились с криками Хрущева: "Дерьмо собачье!"

Я еще не знал, относилось ли это к нам, но, во всяком случае, он был воспален и все были очень возбуждены.

Осмотр он начал в комнате, где экспонировалась живопись, представляемая Билютиным и некоторыми моими друзьями. Там Хрущев грозно ругался и возмущался мазней. Именно там он заявил, что "осел хвостом мажет лучше". Там же произошла очень смешная сцена с Сусловым, который, осматривая работы, сделанные в Саратове, без конца бубнил: "Я сам из Саратова! Я сам из Саратова, это непохоже". Там же было сделано замечание Жетловскому, что он красивый мужчина, а рисует уродов, там же произошла и моя главная стычка с Хрущевым, которая явилась прелюдией к последующему разговору. Стычка эта возникла так. Хрущев спросил: "Кто здесь главный?" Из рядов вытолкнули Билютина. Билютин был растерян, смущен и подавлен. Возможно, он действительно не ожидал провокации. Именно эта его растерянность и подтверждает, что он не был сознательным провокатором, хотя такая идея бытует и по сей день. Хрущев задал ему загадочный вопрос, который я и по сей день не могу расшифровать. Он спросил: "Кто ваш отец?" На что Билютин, заикаясь, ответил: "Политический работник".

В это время Ильичев сказал: "Не этот главный, а вот этот!" И указал на меня. Я вынужден был выйти из толпы и предстать перед глазами Хрущева. Тогда Хрущев обрушился на меня с криком, именно тогда он сказал, что я — гомосексуалист.

Эта "шутка" стала довольно известной, она много раз повторялась на Западе. Я извинился перед Фурцевой, которая

стояла рядом со мной, и сказал: "Никита Сергеевич, дайте мне сейчас девушку, и я вам докажу, какой я гомосексуалист". Он расхохотался. После этого Шелепин, курирующий КГБ, заявил, что я невежливо разговариваю с премьером и что я у них еще поживу на урановых рудниках. На что я ответил — и это было именно так, это есть в стенограмме: "Вы не знаете, с кем вы разговариваете, вы разговариваете с человеком, который может каждую минуту сам себя шлепнуть. И ваших угроз я не боюсь!" Я увидел в глазах Хрущева живой интерес. Именно тогда я повернулся и сказал, что буду разговаривать только у своих работ, и направился в свою комнату, внутренне не веря, что Хрущев последует за мной. Но он пошел за мной, и двинулась вся свита и толпа.

И вот в моей-то комнате и начался шабаш. Шабаш начался с того, что Хрущев заявил, что я проедаю народные деньги, а произвожу дерьмо! Я же утверждал, что он ничего не понимает в искусстве. Разговор был долгий, но в принципе он сводился к следующему: я ему доказывал, что его спротоцировали и что он предстает в смешном виде, поскольку он не профессионал, не критик и даже эстетически безграмотен. (Я сейчас не помню слов и говорю о смысле.) Он же утверждал обратное. Какие же были у него аргументы? Он говорил: "Был я шахтером — не понимал, был я политработником — не понимал, был я тем — не понимал. Ну вот сейчас я глава партии и премьер и все не понимаю? Для кого же вы работаете?"

Должен подчеркнуть, что, разговаривая с Хрущевым, я ощущал, что динамизм его личности соответствовал моему динамизму и мне, несмотря на ужас, который царил в атмосфере, разговаривать с ним было легко, это был разговор, адекватный моему внутреннему ритму. Опасность, напряженность и прямота соответствовали тому, на что я мог отвечать. Обычно чиновники говорят витиевато, туманно, на каком-то своем сленге, избегая резкостей. Хрущев говорил прямо, не квалифицированно, но прямо, что давало мне возможность прямо ему отвечать. И я ему говорил, что это провокация, направленная не только против либерализации, не только

против интеллигенции, не только против меня, но и против него.

Как мне казалось, это находило в его сердце некоторый отклик, хотя не мешало ему по-прежнему нападать на меня. И интереснее всего то, что когда я говорил честно, прямо, открыто и то, что я думаю, — я его загонял в тупик. Но стоило мне начать хоть чуть-чуть лицемерить, он это тотчас чувствовал и сразу брал верх.

Вот один только пример. Я сказал: "Никита Сергеевич, вы меня ругаете как коммунист, вместе с тем, есть же коммунисты, которые и поддерживают мое творчество, например, Пикассо, Ренато Гутузо". И я перечислил многие ангажированные и уважаемые в Советском Союзе фамилии. Он хитро прищурился и сказал: "А вас лично это волнует, что они коммунисты?" И я соврал: "Да!" Если бы я был честным, я должен был сказать: "Мне плевать, мне важно, что это большие художники!" Словно почувствовав все это, он продолжал: "Ах, вас это волнует! Тогда все ясно, пусть вас это не волнует, мне ваши работы не нравятся, а я в мире коммунист номер один!"

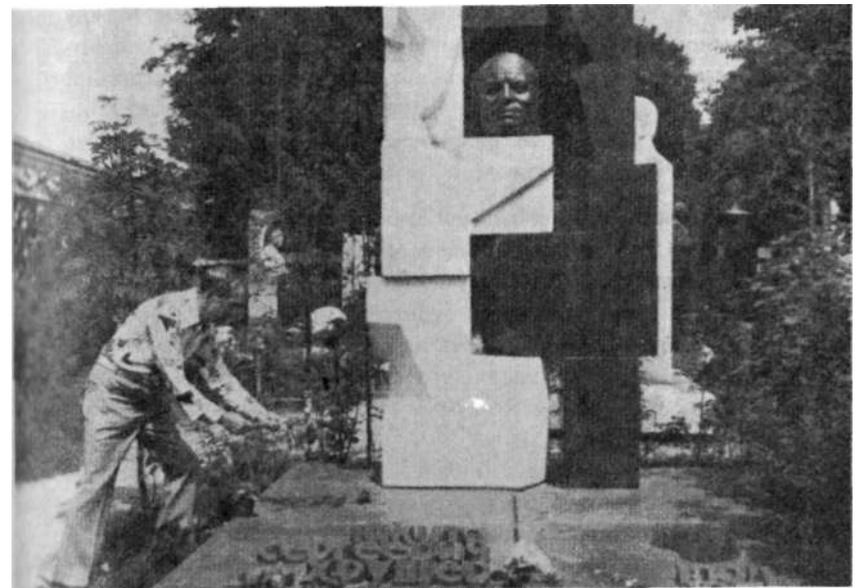
Между тем, были минуты, когда он говорил откровенно то, что не выговаривается партией вообще. Например, когда я опять начал ссылаться на свои европейские и мировые успехи, он сказал: "Неужели вы не понимаете, что все иностранцы — враги?" Прямо и по-римски просто!

Организаторы провокации совсем не предусматривали такую возможность — что я смогу в чем-то убеждать Хрущева. Они хотели, чтобы Хрущев проехался по нам, как танк, не оставив мокрого места. Но раз он со мной разговаривал, значит, вступал в дискуссию. А раз он вступал в дискуссию, значит, слышал то, что не должен был слышать, а я распоясался и говорил то, что думаю. Мне хотелось каким-то образом одернуть хулиганствующих функционеров. Серову я просто сказал: "А ты, бандит, не мешай мне разговаривать с премьером, с тобой мы поговорим потом!"

Когда Шелепин выдвинул против меня обвинения в том,



Эрнст Неизвестный беседует с Никитой Хрущевым



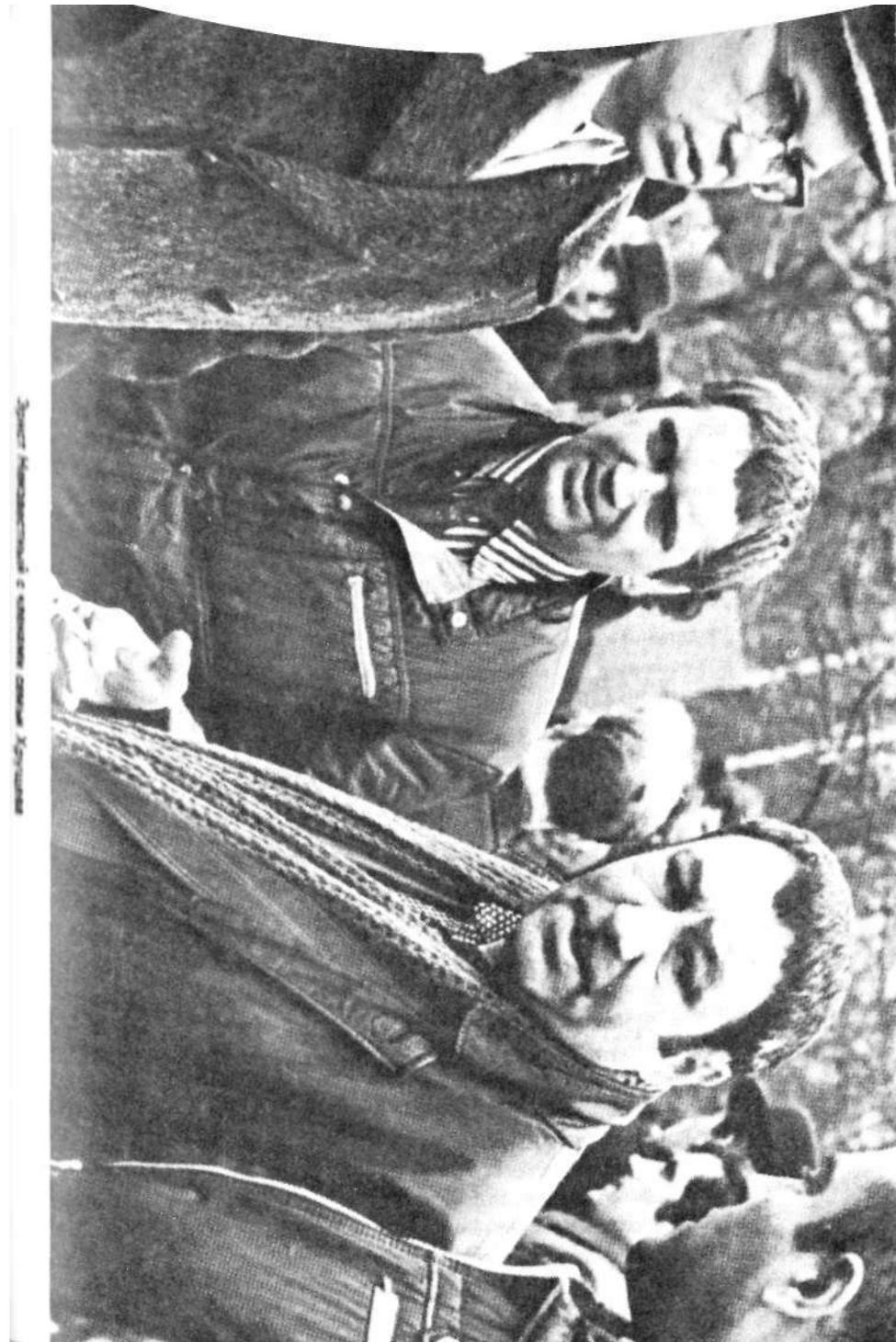
Памятник Н. Хрущеву. Работа Эрнста Неизвестного .

что я — гомосексуалист, краду бронзу, занимаюсь валютными операциями и — какая-то странная формулировка! — позволяю себе недозволенное общение с иностранцами, — я сказал: "Перед лицом Политбюро ЦК заявляю следующее: "Человек, курирующий КГБ, дезинформирует главу государства либо из собственных интересов, либо он дезинформирован собственными людьми. И я требую расследования". В будущем расследование было произведено — меня, действительно, пытались подключить к валютным операциям и, действительно, пытались обвинить в краже бронзы и многом-многом другом. Но уже спустя полтора года, когда Хрущев снова обо мне вспомнил на одном из идеологических совещаний, Шелепин встал и публично заявил, что эти обвинения с меня сняты.

Кончилась наша беседа с Хрущевым следующим образом. Он сказал: "Вы интересный человек, такие люди мне нравятся, но в вас одновременно сидят ангел и дьявол. Если победит дьявол, мы вас уничтожим. Если победит ангел, то мы вам поможем". И он подал мне руку. После этого я стоял при выходе и, как Калинин, пожимал руки собравшимся. Между тем, многим художникам было плохо. Я находился в эпицентре и, может быть, поэтому не ощущал, как это было страшно, но те, кто находился по краям, испытывали просто ужас. Многие из моих товарищей бросились меня целовать, поздравлять за то, что я, по их словам, защитил интересы интеллигенции.

Затем ко мне подошел небольшого роста человек, с бородавкой на носу, как у Хрущева, бледный, в потертом костюме, и сказал: "Вы очень мужественный человек, Эрнст Иосифович! И если вам надо будет, позвоните мне", и сунул какой-то телефон. Я сгоряча не разобрался, кто это. Спустя некоторое время я узнал, что это был помощник Хрущева Лебедев, с которым, кстати, я потом встречался минимум двадцать раз.

По заданию Хрущева Лебедев требовал, чтобы я публично покаялся, то есть передал Хрущеву письмо, которое можно было бы напечатать в советской прессе, как покаянное. Видимо, это было партийное задание, и он, как исправный функци-





Эрнст Неизвестный с членами семьи Хрущева

онер, выламывал мне руки, иногда угощал пряником, чтобы добиться своего.

Я написал Хрущеву письмо, которое, по заявлению Лебедева, не удовлетворило идеологическую комиссию ЦК. Лебедев сказал так: "Никита Сергеевич прочитал ваше письмо с интересом, но оно не удовлетворило идеологическую комиссию ЦК, поэтому оно не может быть напечатано как символ того, что вы прислушались к критике".

О моем первом впечатлении от Хрущева. Должен сказать, что я испытывал тогда двойственное чувство к нему. Я испытывал симпатии к его динамизму. И, естественно, к его либеральным акциям, но вместе с тем, я был абсолютно ошарашен его почти уникальной некультурностью.

Я в жизни, пожалуй, не встречался с человеком более некультурным. Одновременно я чувствовал в нем биологическую мощь и психобиологическую хватку. Во всяком случае, определенная природная незаурядность в этом человеке была. К сожалению, она осталась не подкрепленной культурой, столь необходимой для руководителя такого государства. Я думаю, что это ему очень отомстило в его биографии.

Динамика наших дальнейших отношений с Хрущевым была такова. Его помощник Лебедев вызывал меня в ЦК и вел нескончаемые беседы на тему моего покаяния. Это были очень интересные собеседования. Многие для меня остались до сих пор загадочным и неясным. Ну, например, когда я совершенно распоясывался, Лебедев показывал рукой на ухо и на потолок, давая понять, что нас подслушивают. Потом он выводил меня в коридор и говорил: "Что вы делаете, Эрнст, что вы говорите? Ведь если это станет чьим-то достоянием после ухода Хрущева нас на одном суку повесят".

Как-то он мне позвонил и сказал, что Хрущев не спит ночами и, будучи в Югославии, несколько раз звонил ему по телефону, справлялся, как я там. То есть он меня как-то ласкал, говорил, что Хрущев меня любит, уважает, а с другой стороны требовал того, что я органически не мог сделать.

Евтушенко и, как это ни печально, Шостаковичу было поручено уговорить меня написать покаянное письмо. Евтушенко сам брался его составить.

Несколько раз я садился и хотел писать такое письмо, ради "своего дела", как мне сказал Шостакович. Но у меня просто не получалось и не вопреки даже моей идеологии, а органике. Я рвал эти письма.

Была забавная ситуация, когда я находился в кабинете у Владимира Семеновича Лебедева и он потребовал, чтобы я сразу от руки все написал.

Я спросил: "Ну что же можно написать?" Он сказал: "Садитесь, и я вам продиктую!" И он продиктовал мне примерно следующее: "Никита Сергеевич, заверяю вас в своей преданности и уважении. Никита Сергеевич, я очень благодарен вам за критику. Она помогла мне в моей работе и творческом росте". Мне не захотелось этого писать, и я сказал, что пишу с орфографическими ошибками, на что Лебедев ответил: "Это ничего, Никита Сергеевич сам иногда пишет с орфографическими ошибками". Он меня утешил.

Другая наша встреча с Хрущевым произошла на его даче — в Доме приемов. Туда были привезены основные мои скульптуры. Опять-таки всем руководили Ильичев и Промыслов. Я от них потребовал, чтобы в экспозицию были включены и другие работы, такие, как "Космонавты", как разработка комплекса Новосибирского городка Науки — я принимал участие в его проектировании, — а также мои эскизы для оформления "Артека", то есть вещи, которые я считал своими, но которые, как мне казалось, могли быть верно поняты Хрущевым.

Я подошел к Промыслову и сказал: "Почему вы меня обманули, почему нет тех работ, о которых я просил?" Он цинично усмехнулся и сказал: "Из вас будут выгонять дьявола, а у вас еще претензии". Я сказал: "Но где же ваша хваленая партийная совесть?", на что Промыслов спокойно ответил: "Моя партийная совесть служит только партийному делу".

Как происходило это столь нашумевшее идеологическое совещание? Об этом можно много говорить и вспоминать. Естественно, каждый из участников этого совещания был за-

фиксирован на своих проблемах. Мне лично казалось, что все крутится вокруг меня. Похоже, что и в действительности все крутилось вокруг меня. Так вот, происходило это на Ленинских горах, как я уже сказал, в Доме приемов.

Сперва был обед, весьма невкусный. С очень чахлыми напитками. Рядом со мной сидел Евтушенко. Я его спросил: "Почему так невкусно?" В ответ, по-моему, он неплохо сострил: "Ну что ты хочешь, последний поваренок здесь капитан, а это же несовместимо".

После обеда нас всех попросили в большой зал заседаний, куда уже пришла часть публики. Это был такой циркулярный зал, где ряды были расположены амфитеатром и в центре стояла тумба, явно для демонстрации скульптур.

Я, по своей импульсивности, вошел в зал и встал у этой тумбы, собираясь защищать свои работы. Видимо, это не входило в программу устроителей, потому что я был подследственным и подсудимым. И мне еще не давали слова. Затем произошла забавная мизансцена. Все сидели амфитеатром. Я стоял в центре этого сборища. Появился Хрущев со свитой, со всем Политбюро. Увидев меня, он остановился в дверях, что-то сказал, махнул рукой и вышел. Тут же было приказано перевести заседание снова в то место, где мы обедали. Я тогда не понял, что произошло, в дальнейшем все прояснилось. Меня усадили одного, прямо перед президиумом, за столом. Трибуна стояла буквально в полутора метрах от того места, где я находился. Рядом со мной было совершенно пустое пространство. Никто рядом со мной не хотел садиться. Интересно, что чуть позже подсели Евтушенко и Фурцева.

Итак, я находился между Евтушенко и Фурцевой.

Фурцева держала меня за колено, и всякий раз — я забегаю вперед — когда я, во время выступлений Хрущева и других, порывался кричать с места, она давила мне колено. То же проделывал и Евтушенко, повторяя: "Не озлобляйся, не озлобляйся".

Итак, мы расселись. В полном составе вошли члены Политбюро, и добрые молодцы начали вносить скульптуры и загружать ими стол перед лицом Политбюро.

Таким образом, все Политбюро было отгорожено от зала моими скульптурами. Это было смехотворно и несколько разрушило сценарий. Впрочем, сценарий был разрушен еще раньше, когда Хрущев ушел из зала, но сейчас все это уже носило гротескный, комический характер.

Особенно был смешон Хрущев, который выглядел из-за моего "Мальчика с мышкой", самой большой скульптуры. В конце концов, он подозвал кого-то, "Мальчика" положили навзничь, и таким образом Хрущев стал виден.

Как вел совещание Хрущев? Он поднялся и начал читать доклад по бумажке. Это был очень нудный идеологический доклад, с очень грозными формулировками, в которых все время присутствовало: "Не позволим, не разрешим...". В общем, он размахивал идеологической дубинкой, но в процессе чтения доклада он вдруг оставлял бумагу и говорил сам, причем, все наоборот. Это было странно и нелепо. Например, он говорил так, обращаясь ко мне (очень много обращался ко мне) : "Вот сидит и думает, что мы против культуры и интеллигенции, и хочет, чтобы мы сразу все гайки отвинтили, а у Чехова злоумышленник гайку через одну отворачивал". Затем брал доклад и снова читал "не позволим, не разрешим".

Вдруг, он отбрасывал бумагу и ни с того, ни с сего говорил: "Вот, говорят, что я не люблю евреев — это неправда! Хотя, в действительности, бывают такие обстоятельства, когда и выбора нет. Ну вот, например, вспоминаю я, в Киеве идет молодой офицер, еврей, а сзади два хулигана. Пристали к нему: "жид" да "жид". Нет, чтобы посмеяться, а он взял да их застрелил. Естественно, публика устраивает погромы". Или, например, его рассказ о Пине. Я его слышал собственными ушами и даже записал, придя домой. Хрущев сказал: "Вот расскажу я вам одну историю" — причем, опять вне всякого контекста. "Сидят урки в тюрьме. И друг друга боятся, а надо выбрать старосту. А кого выбрать старостой, раз они друг друга боятся? Оказался среди них еврей, Пиня, смиренный такой еврей. Вот они думают — выберем его старостой, он смиренный и будет послушен. И выбрали Пиню. А Пиня стал, ох, ка-

кой староста, всех зажал. Урки задумали бежать и сделали подкоп, но кому идти первому, а первому ведь и пуля в лоб. И вот Пиня говорит: "Я, как староста, пойду первым". Так вот, товарищи, закончил Никита Сергеевич, Я — э т о т Пиня!" И после этого, без всякой паузы, он читал грозный идеологический доклад.

Про меня там была масса странных вещей. Например, он говорил, что я не художник, что я руководитель клуба Петефи, что я — офицер и что я жажду занять их место и убить Политбюро ЦК. И он даже красочно показал, ткнув себе пальцем в лоб и в сердце, как я буду его убивать. Я кричал с места, что это глупость, Никита Сергеевич, я хочу только лепить, и лепить, как я хочу. Но мне не давали слова. Были и другие занятные моменты, например, когда он, спутав медиума и гипнотизера, вдруг закричал: "Евтушенко! Отодвиньтесь от этого человека, он и вас загипнотизирует!" Потом оторопело подумал и начал кричать: "Медиум, Медиум! Поезжайте к своим духовным отцам на Запад! Я — премьер и ручаюсь, что дам вам паспорт и деньги на дорогу!" Я встал и сказал: "Никита Сергеевич, не говорите глупости, не вам за меня выбирать родину!" И представьте себе, что он меня обнял и после этого продолжал утверждать, что я враг номер один и мне не место здесь.

Много времени спустя я все это продумал и понял, что при всей спонтанности Хрущева в его поведении была своя логика. Этот человек отменил страх, сталинский страх, но руководить аппаратом и страной он не мог, потому что он не изменил структуру. Но как же управлять без страха, и он нагнетал страх своей непоследовательностью. Никто не знал, что он сделает каждую другую минуту. Я видел ужас на лицах членов Политбюро от его комментариев во время доклада. Я думаю, что он все это делал специально, чтобы все находилось в страхе и неведении. Многие его поступки, которые объясняют как волюнтаризм, были эгоистически и политически оправданы. Он разъединял министерства, соединял, он просто хотел разрезать по частям и перетасовать мафии, слежавшиеся десятилетиями, чтобы иметь возможность ими манипу-

лировать, так что, повторяю, в этом аппаратном безумии была и своя эгоистическая, аппаратная логика.

В этом было нечто запрограммированное, как стиль руководства. Хрущев был человеком, который хотел перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Но сделать это было невозможно.

Между тем, все это наводило ужас и на меня лично и на мое окружение: многие из ближайших моих знакомых после всего этого не подавали мне руки, а многие, незнакомые мне люди, публично меня целовали. Каждый считал необходимым как-то отреагировать и выбирал то, что, по его мнению, было наиболее созвучно с настроением Хрущева.

Евтушенко тогда защитил меня, и я ему за это благодарен. Я не хочу подробно входить в анализ — многие говорили, что он хитер-де, он знал, что это будет импонировать Хрущеву.

Должен сказать, что, как это ни странно, но даже Вучетич, большой царедворец и лиса, и самый мой главный враг, на этом совещании занял двойственную позицию. Он, например, встал и сказал, что он берет меня на поруки и что я буду у него работать. В перерыве я подошел к Вучетичу и сказал: "Евгений Викторович, как же я могу у вас работать, если я у вас выигрываю все конкурсы?" На что он цинично ответил: "Если бы ты был бездарен, зачем ты был бы мне нужен?" Вот как происходило это совещание.

Между тем, и после него Владимир Семенович Лебедев пытался изо всех сил вырвать от меня покаяние, необходимое для партийного пользования. Вообще я должен отметить, что им не так нужно тело, как нужна душа — покаяние и душа грешника! И именно в борьбе за мою душу — ведь тело им взять ничего не стоит — Владимир Семенович Лебедев вместе с Хрущевым потерпел поражение.

И вот, в день снятия Хрущева... А произошло это так: мой друг, женщина, работавшая референтом в аппарате тогдашнего президента Академии наук Келдыша, позвонила мне по телефону и сообщила, что снимают Хрущева. Это еще не было

известно широкой общественности. Я сразу же позвонил по телефону Лебедеву, однако не было никакого ответа. На другой день я снова позвонил — подошел Лебедев. Этот человек обладал уникальной способностью — по телефону узнавать голоса и помнить все имена и отчества. "Владимир Семенович, — начал я, — вы хотели, чтобы я сказал Хрущеву, что я его уважаю и многое другое, сейчас я имею возможность это сделать и будем считать наш разговор публичным". Он хихикнул, понимая, что телефон подслушивается, и я это знаю. "Итак, передайте Никите Сергеевичу, что я его действительно глубоко уважаю за разоблачение культа личности и за то, что он выпустил миллионы людей из тюрем. Перед лицом этого наши эстетические разногласия я считаю несущественными и желаю ему много лет здоровья..."

Была пауза, после которой Лебедев очень тепло — хотя обычно он был человек очень холодный — сказал: "Другого я от вас, Эрнст Иосифович, и не ожидал, я это передам Никите Сергеевичу". Лебедев умер через два месяца после смерти Хрущева. Думаю, что немного такого рода звонков он получил в день снятия Хрущева.

Хрущев был снят. Три раза он присылал ко мне человека, который приносил от него извинения и просил приехать к нему на дачу. Я этого не сделал, не по трусости — трусить было нечего, на даче у него бывал Евтушенко, встречался он и с другими. Я не поехал просто потому, что не считал возможным дальше вести наши эстетические дискуссии. Я знал себя и Хрущева и знал, что этого не миновать. Но сейчас это было бесполезно, а кроме того, травмировать его уже в этот момент я не хотел. Таким образом, легенда о том, что я встречался с Хрущевым на его даче, лишена всякого основания, я ни разу с ним после его снятия не виделся.

Правда, Нина Петровна мне прислала выдержку из его будущих мемуаров, где Хрущев, как бы косвенно, извинился передо мной. Но должен сказать, что меня это извинение не удовлетворило. Дело в том, что и тут, может быть, по законам психологии, а, может быть, и по некоторому природному лукавству, у Хрущева проскользнула нечестность, а имен-

но он извинился передо мной за то, что он издевался над моей фамилией — велико дело, я этого даже и не заметил. Извиняться нужно было за другое!

В день, когда умер Хрущев — и тут начинается некая метафизика и даже мистика — о его смерти я узнал от таксиста — и в тот момент, когда он мне об этом сказал, меня пронзила мысль, что мне придется делать надгробие. Как она возникла, я не знаю, но это факт.

После похорон Хрущева ко мне приехало два человека — это были сын Хрущева Сергей, с которым я до этого не был знаком, и сын Микояна, тоже Сергей, с которым я дружил и который меня поддерживал в самые тяжелые минуты.

Меня несколько раз избивали, один раз даже избили до потери сознания, и очнулся я в квартире бывшего посла Меньшикова, где узнал, что меня подобрали Микояны. Сыновья Микояна приезжали в минуты моих самых острейших разногласий с Хрущевым. Так вот, они вошли, осмотрелись и долго мялись. Я сказал: "Я знаю, зачем вы пришли, говорите!" Они сказали: "Да, вы догадались, мы хотим поручить вам сделать надгробие". Я сказал: "Хорошо, я соглашаюсь, но только ставлю условием, что я буду делать, как считаю нужным". На что Сергей Хрущев ответил: "Это естественно".

"Я знаю, — сказал я, — что найдутся такие, кто обрушится на меня за мое решение. Я считаю, что это месть искусства политике. Впрочем, это — слова! В действительности я считаю, что художник не может быть злее политика и поэтому соглашаюсь. Вот мои аргументы. А какие у вас аргументы: почему это должен делать я?" На что Сергей Хрущев сказал: "Это завешание моего отца". Позже мы к этой теме не возвращались. Но то, что Хрущев завещал, чтобы памятник делал именно я, было подтверждено польской коммунисткой во время его открытия. Она ко мне подошла и сказала: "Никита Сергеевич не ошибся, когда завещал вам сделать ему надгробие". Это же подтвердила и Нина Петровна Хрущева.

Возвращаясь назад, я должен сказать, что верха были обескуражены этим решением Хрущева, никому не приходило в голову, что дело повернется так. И три года мне не давали

возможности поставить памятник. В данном случае мне пришлось использовать все свое знание социальной структуры советского общества. Фамилия Хрущева тоже знала эту социальную структуру, но она знала ее сверху и, оказавшись внизу, не имела понятия, как действовать. Мой же опыт человека, находящегося всегда внизу, мне очень помог. Я, по существу, действовал личным террором...

Ни одна инстанция не брала на себя последнего слова. И мне пришлось ловко вести этот бюрократический корабль. В конце концов, я довел его до того, что приказ поставить надгробие — оно было уже готово, и все равно не решались — исходил непосредственно от Косыгина. Это была сложная, ювелирная социальная работа.

Дело в том, что деньги, которые были отпущены на надгробие Хрущеву, предусматривали просто одну плиту с надписью, этого никто не боялся. Никто не предполагал, что обратятся ко мне. И никто не думал, что я соглашусь за очень небольшой гонорар сделать такую большую и дорогостоящую работу. И уж совсем никто не предполагал, что эта работа будет не просто бюст, нейтральная вещь, но в этой работе будет и мое отношение к Хрущеву, как к дуалистической фигуре, стоящей на границе двух времен, как фигуре, содержащей в себе реальные противоречия эпохи. В общем, надгробие получилось весьма дискуссионным. И, естественно, не могло не натолкнуться на сопротивление. Что происходило? Верха скидывали решение вниз, а низы ждали приказа сверху. В мою задачу входило спровоцировать верха принять решение, и я провоцировал это решение, как знал, вплоть до того, что главный архитектор города мне сказал: "Вы занимаетесь шантажом". Я сказал: "Да".

А к чему сводился шантаж?

Я объяснял инстанциям: "Вы не даете мне установить надгробие совсем не потому, что у вас есть приказ — не ставить. Если бы это было так, вы бы со мной просто не разговаривали". Но нет, они разговаривали. И требовали, чтобы я изменил надгробие. Ну, например, сделал не черное и белое, а хотя бы серое, а еще лучше — просто портрет на каноничес-

кой подставке. А самое лучшее — убрать портрет и оставить лишь надпись — словом, тысяча вариантов. Так вот, я говорил: "Раз вы со мной ведете переговоры, значит, нет решения верхов. Я скажу, чего вам надо бояться: если вы затынете дело — а Брежнев скоро едет на Запад, — я дам интервью, что он мне запрещает ставить надгробие Хрущеву. А он — ни слухом, ни духом. Когда возникнет скандал, я скажу, что виновато Главное архитектурное управление, во главе с Посохиним. И тогда попросят Тяпкина-Ляпкина — вот чего вам надо бояться, поэтому принимайте решение".

В конце концов, эти чиновники откровенно мне объяснили, что они действительно боятся, и советуют мне самому обратиться вверх. Тогда-то я и попросил Нину Петровну написать Косыгину. И когда она обратилась к нему, он разрешил. Я думаю, что для них, этих маленьких "аппаратчиков", это был праздник больший, чем для меня. Они чуть меня не целовали за то, что получили, наконец, приказ сверху поставить надгробие.

Открытие памятника происходило под дождем в одну из годовщин смерти Хрущева. Были все члены его семьи и корреспонденты, была охрана. Никого не пускали на кладбище. Приехал Евтушенко, который пытался быть в центре внимания. Никто не произносил речей. И когда члены семьи повернулись и ушли, потому что им не нравилось, что Евтушенко произносит речи в то время, как они молчат, — я с Сергеем Хрущевым и пятью своими друзьями поехал на квартиру к Сергею. Он достал бутылку коньяка, которую Хрущеву подарил де Голль — какого-то столетнего коньяка — и сказал: "Вот мой отец никогда не решился выпить этот дорогой коньяк. Сейчас мы выпьем его сами". И мы распили эту бутылку коньяка.

Вспоминали Хрущева. Домашний врач утверждал, что он не был так прост, как казался. Я настаивал, что он был очень примитивен. "Нет, нет, это только маска", — возражал он. И привел мне несколько примеров изумительного знания им своих подопечных. Например, этот человек рассказал, что когда он хотел купить себе дачу в поселке маршалов, то Хру-

щев стал его отговаривать: "Ну зачем вам жить в поселке маршалов? Там же находиться невозможно, вы не знаете, что такое советские маршалы. Это обыкновенные бандиты, но только в маршальской форме!" Таких анекдотов он привел несколько, рассказывая о Хрущеве.

* * *

Сейчас, когда я уже несколько лет на Западе, я все чаще задаю себе вопрос: что же меня заставило покинуть Россию?

Главными, разумеется, были внутренние расхождения с советским мировоззрением. Нет, не в политическом плане, хотя в политическом они тоже были. Но основные мои расхождения с режимом носили, скорее, метафизический характер.

Я отношусь к искусству, как к метафизическому явлению — чего вообще не могли понять советские идеологи. В СССР я мог делать большие официальные вещи, использовать свои формальные приемы, но не мог делать того, что хотел. Я сам себе напоминал актера, который всю жизнь мечтает сыграть Гамлета, но ему не давали, и лишь когда он состарился и захотел играть короля Лира, ему предложили роль Гамлета. Формально это была победа, но внутренне — поражение.

Мне в семьдесят втором—семьдесят пятом годах предлагали делать те работы, за которые я дрался в шестьдесят втором. А то, что я делаю сейчас, не хотели даже видеть. Однако все это — лишь внешняя прагматическая сторона дела.

Я бы хотел остановиться на глубинных, метафизических или, если хотите, на эстетических разногласиях с режимом.

Как я теперь понимаю, истоки моего разочарования уходят в прошлое, в послевоенные годы, когда я вернулся с фронта домой. Воспитанный в определенном смысле романтически, я продолжал цепляться за прежние юношеские представления о жизни. Если власть и не была любима мной, то, по крайней мере, я хотел ее видеть в качестве грозной и демонической силы. А на протяжении всей своей жизни я встречался с обыкновенным, распущенным люмпеном, который занимал гигантские посты. И больше того, в сознании народном и мировом являлся героем. И вот этот разрыв между правдой

истории, правдой победы, морем крови и невзрачностью, мелкотравчатостью, вульгарностью "представителей" истории ранил меня. Так, пожалуй, закладывалось мое основное, внутреннее противоречие со сложившейся властью и теми, кто ее олицетворял на всех уровнях.

Довольно долго и у меня были иллюзии — не иллюзии, связанные с их нравственностью или принципиальностью. Я никогда не думал, что это нравственные, принципиальные люди. Я всегда знал, что история — это не девушка, и в ней было очень много насильников, злодеев и садистов, но я не представлял, что великую державу, весь мир и саму историю могут насиловать столь невзрачные гномики, столь маленькие кухонные карлики, и это меня всякий раз оскорбляло. Я был согласен на ужас, но мне нужно было, чтобы этот ужас был сколь-нибудь эстетичен. Этот же, бытовой мещанский ужас людоедов в пиджаках, варящихся в собственной лжи, морально разрушал меня.

Иногда меня называют диссидентом. На это обычно я отвечаю, что я — не диссидент. Дело в том, что по мере удаления от советской государственной границы диссиденты плодятся в геометрической прогрессии. Я — не диссидент в том смысле, что у меня не было никаких предложений, как переделать советскую власть.

Прожив большую часть жизни в СССР, вращаясь в разных кругах и среди разных людей, я имел определенный социальный опыт. Этот опыт включал в себя возможность "пронизать" почти все общество сверху донизу, до последней проститутки (которая у меня была натурщицей), до последнего пьяницы (который таскал у меня тяжести). Я бывал в Кремле и трущобах, бывал всюду, где только мог бывать советский человек, я жил как бы не в горизонтальном, а вертикальном направлении. Я общался с министрами, членами Политбюро, помощниками Хрущева и Суслова, встречался с очень многими людьми из партийной элиты.

Как ни странно, референтский аппарат представляет собой ту часть партии, которую Орвелл определил бы как внешнюю.

Орвелл ошибался, когда он считал, что внутренняя партия рафинирована, а внешняя груба.

Что меня поразило при соприкосновении с самыми верхними иерархиями? Я в первый раз в жизни столкнулся с толпой, столь антиэстетичной. Я не хочу сказать, что референты так уж эстетичны — но все же они технари, а не идеологи по определению.

Наверху же сидят люди, которые по закону естественного, внутривнутрипартийного отбора, растеряли многие человеческие качества. Лично я их назвал "толстоязыками". Это люди, которые после революции, при великом переселении социальных групп, добежали до города, но в город еще не могли войти. Они остались в пригороде. И только сталинский термидор пустил их в город. Это люди, которые ни одного интеллигентного слова не могут выговорить нормально. Это особый сленг — не украинизмы, нет, это сленг рвани, сленг пригорода. Поэтому они говорят по́ртфель, а не портфель, не документы, а докúменты... С такой неквалифицированностью и некультурностью я столкнулся, только оказавшись на самом веру. Тогда-то я и испытал эстетический ужас, который перерос в ужас социальный. Именно тогда и исчезли у меня последние остатки иллюзий, которые в какой-то степени порождались в результате общения с определенными слоями технической интеллигенции. Пусть не ах как — но все-таки те министры и те референты, с которыми я общался, были относительно интеллигентны.

Повторяю, ужасны не они, а верха. Дело не в том, что они — злодеи. Злодей может быть и эстетичен, и, в конце концов, Леонардо сотрудничал с Цезарем Борджиа. Но это не Цезари Борджиа, и для меня, человека, который себя ощущает попавшим из других эпох в наше время, самым оскорбительным было то, что мой труд оценивается и рассматривается этим воинствующим убожеством!

В ходе внутривнутрипартийного отбора, за счет утраты всех человеческих качеств, они выработали одно — главное, и им, как мне кажется, была подозрительность.

Я долго думал, откуда такая подозрительность, откуда

такая неутомимая жажда срывать маски? Я долго размышлял над этим и понял. Если Хрущев говорил, что я не просто скульптор и вообще не скульптор, а руководитель клуба Петефи, а скульптура для меня является маской (он говорил не в таких терминах, но смысл такой), или, если Фурцева, просто со слезами на глазах, уговаривала меня перестать лепить "бьяки", потому что этими "бьяками" я ей, Фурцевой, мешаю, и если вообще она рассматривала мои работы не как экзистенциальное проявление сформировавшегося опытного человека и художника, а лишь как некую провокацию против ее личной карьеры, то не связано ли все это с общей структурой их жизни и партийного воспитания.

Представим себе парторга Иванова и человека, который претендует на его место, — Петрова. Оба они — солдаты партии, оба проводят в жизнь инструкции, спущенные сверху. В чем же смысл их борьбы? Их борьба социально бессодержательна, но в личном плане она гигантски драматична. Петров может подсидеть Иванова только в том случае, если поймает его на "взятке", на "бабах", на "аморалке", и они борются на этом кухонном уровне.

Так вот, оказалось, что верхушечные люди — это мастера коммунальной квартиры, которые первые нашкодили в чайник соседу, пока тот еще не догадался. В этом они талантливы, и это исключает все их другие качества.

Я это обозначил для себя, как "демоноискательство" советского партийного функционера. Что я имею в виду? Иванов, которого подсиживает Петров и иже с ним, во всем видит заговор. Не против системы как таковой, а заговор против своего личного благополучия. Любую акцию, не понятную, не управляемую ими, даже молчание, они воспринимают как враждебную.

По мере того, как растет наш функционер, эти качества только усиливаются, и, возможно, выигрывает именно тот, кто в наибольшей степени ими обладает.

И вот такой человек, поднимаясь по иерархической лестнице, утрачивая все человеческие качества, обретает огром-

ную бдительность и воспринимает весь мир, как демона, затаившегося против него и запрятавшего личную пакость.

Я глубоко убежден, что когда Брежнев разговаривает с американскими конгрессменами и они объясняют ему, что не могут проводить иную политику, кроме той, что им навязывает — не только их совесть, но и прагматическая ситуация Америки: избиратели, лоббисты, промышленные комплексы, — так вот, я убежден, что Брежнев им попросту не верит, он считает, что они действуют лично против него. У меня даже есть свидетельство, что он им как-то сказал: "А что вы думаете, если меня снимут, вам будет лучше?!" И так они воспринимают все. Поэтому любое интеллектуальное и непонятное действие им враждебно. И я был враждебен системе совсем не потому, что хотел бы, скажем, чтобы были упразднены колхозы. Главное было то, что я всегда ратовал за свободу творчества, но свобода творчества, свобода художественных форм опасны им. Они боятся их непонятности и неуправляемости.

Эта их подозрительность ощущалась во всех моих разговорах с ними. Например, Демичев сказал, что он меня уважает, что я умный и мужественный человек, но что я делаю такие скульптуры, которые раздражают товарищей, а поскольку он возглавляет идеологию, — ему от этого плохо. И он искренне, как и Фурцева, упрашивал меня измениться, не выдвигая никаких аргументов, кроме собственной обиды.

Фурцева, как женщина, была среди них наиболее искренна, она просто плакала: "О, Эрнст, прекратите лепить ваши некрасивые фигуры. Вылепите что-нибудь красивое, и я вас поддержу, ну зачем вы раздражаете товарищей, а вы знаете, сколько у меня из-за вас неприятностей, с вами сейчас говорит даже не министр, а женщина, помогите мне удержаться на месте!"

И сколько я ни пытался ей внушить, что за моими скульптурами нет прямой политической опасности (хотя понимал, что есть социальная опасность), она все-таки настаивала на своем и, в конце концов, стала моим врагом. Я оказался неблагодарным: сам министр меня упрашивал измениться, а я?

по прихоти, из-за упрямства не захотел этого сделать. Она так и сказала: "Сейчас я понимаю, мне ведь действительно товарищи говорили, что вы несносный человек, ну что вам стоит?"

Посмотрите, какие они все обидчивые! Обратите внимание на тон прессы. Ведь ее тон — это тон климактерической разобиженной женщины, которую все обманули и оставили. Неуправляемые югославы, неблагодарные китайцы, вздорные поляки, уж не говоря о евреях. Ведь в ЦК все время стоит стон: "Кормили, поили, а они?" Там же Дубчека воспринимают искренне, не как политическую реалию, а как человека, который просто лично подвел своих советских товарищей, нарушил сговор.

Они обидчивы и антиэстетичны в своей обиде. Поэтому все мои стычки происходили на очень странном уровне — на уровне личной обиды функционера на мою неуправляемость. Они, видите ли, обижались, что я есть я, они, наверное, хотели, чтобы я был, как они, а я этого не хотел. Причем, это "странное" восприятие жизни не обязательно начинается сверху, а, скорее даже, снизу. Ведь никогда же дворник или даже милиционер не скажет тебе, чтобы ты забрал скульптуру со двора, потому что не положено ее здесь держать. Он скажет: "Ты что хочешь, чтобы начальство мне голову намылило?!"

И так же говорили самые высокие функционеры. Они воспринимают любое действие — танцы Плисецкой, музыку Шостаковича, мои скульптуры — как личное оскорбление и некое неудобство.

В принципе, они бы с удовольствием управляли только мертвыми, живые им не нужны, с мертвыми спокойнее. Но, увы, жизнь устроена так, что многое ими не управляется. И они искренне раздражены.

Я не встречался с людьми более ранимыми, чем эти толстокожие невежды. Ни одна из моих любовниц не была так обидчива, как обидчива Фурцева.

Передо мной и сейчас они предстают, словно живые, эти маленькие и большие демоноискатели из партаппарата.

Фурцева... Пыталась руководить искусством, как капризная, салонная дама руководит собственным двором.

Наша встреча произошла после моей стычки с Хрущевым, когда меня пытались приручить. Это имеет отношение к прянику. Я вхожу к ней, она встает из-за стола, целует меня в щеку и говорит: "Я могу вас звать Эрнстом?" Я говорю: "Разумеется, Екатерина Алексеевна". "Ах, я не могу вам разрешить звать меня Катей, но все еще впереди! Скажите, лапонька, как вам кажется мой наряд", и она крутится передо мной, как озорная "семидесятилетняя девочка". Я говорю: "Восхитительно, это из Парижа?" "По секрету скажу, да!"

После этого мы усаживаемся, она держит меня за две колленки. И начинает объяснять, как она меня уважает за мою смелость. Но только нельзя быть таким экстремистом. И вдруг начинает вести длинную салонную беседу о том, как она волновалась перед выступлением. Тут она повторяет слова примадонн об их волнениях перед премьерой: "Я так волновалась, что почти ничего не могла сказать. Вы же знаете, у нас надо читать по бумажке, а я лично люблю импровизировать, и вы знаете, получилось, и сегодня я удовлетворена". Она рассказывает о своей премьере где-то на каком-то идеологическом совещании.

И вот на таком уровне междусобойчика она хотела приручить стреляного, измотанного, грамотного мужика. И когда это не получалось, она раздражалась. Она хотела, чтобы я был Эринькой, а она была бы просто Катей, но ведь разговор шел о всей моей жизни, о судьбах искусства, а она это хотела свести к своей стареющей плоти и претензиям.

Рядом с Фурцевой я вижу Демичева. Демичева зовут химиком не в том смысле, что это якобы его профессия, а в том, что он всегда "химичит".

Демичев, конечно, со мной разговаривал не так, как Фурцева, но привкус был тот же. Он говорил, что он меня очень уважает за смелость, говорил, что поможет мне, но я должен помириться с художниками. На это я ему ответил: "Петр Нилович, вы знаете, на Первый съезд художников я прошел большинством голосов, так что с художниками я не поссорился". Он сказал: "А, бросьте, вы же понимаете, кто для меня являются художниками. Для меня художниками являются

руководители президиума Союза и Академии, а с ними вы в ссоре".

И далее: "Ну, что же вы, как бык, уперлись в стену. Я уважаю ваше упрямство, но нет, чтобы отойти в сторону. Вот вы знаете, первопечатник Иван ведь имел уже вместо кириллицы собственный шрифт, а печатал на кириллице. Он понимал, что не время, его бы разорвали. Я не призываю вас к компромиссам, но вы и меня должны понять. Чтобы я вам мог помочь, вы должны печатать свои идеи на кириллице, а иначе я беспомощен!" Вот на таком уровне партийной лисы он со мной разговаривал.

Или еще: Белашова, председатель Союза художников. Женщина, которая взяла уничтоженную маску спеца. Она говорила все то же, что и Вучетич, но произносила это с привкусом стареющей дамы из бывших. Она говорила: "стютюэтки", "соцреализм", она говорила: "дюша". И это нравилось функционерам партии, потому что простой гангстер Вучетич корнал также, как они, а тут ведь и с нами интеллигенция. Символом интеллигентности была ее челка а ля Ахматова и фиолетовая шаль. Это была партийная дама, микро-Коллонтай, специалистка по ловле душ либеральных интеллигентов. Она призывала к совести, чести, национальному самосознанию. Меня она не обманула и за это страшно невзлюбила. Я ей сказал, притом публично: "Я подозреваю, что вы были домработницей у какой-нибудь мхатовской артистки". Я даже не подозревал, как я был прав. Действительно, эта "интеллигентка" была домработницей, правда, не у мхатовской артистки. Там она нахваталась старокультурных манер, которыми она уснащала древнеполицейские идеи, и этим нравилась партии в период так называемой оттепели.

По этому поводу я часто думал: "Интересно, как я закончу жизнь среди всех этих стареющих девочек и мальчиков"? Я был уверен, что меня не расстреляют. Мне просто скажут: "Эрик, ты нам всегда мешал, ты всегда лепил то, что нас раздражает: и Катеньку, и Петеньку, и Никитушку. Ты даже не выпускал стенгазетушку, ты ни разу не участвовал в нашем хоре самодеятельности. Мы не хотим тебе сделать больно, мы

же не убийцы, мы же — либералы и гордимся тем, что уклонились от затягивания петли на шее. Так повесься сам — и веревочка хорошо намылена, и жена твоя будет довольна, что тебя не убили”.

Я думаю, они мне готовили именно такой конец, и хотели лишь, как Пилат, умыть руки.

ЖУРНАЛ "ЭХО"

Вышел из печати и продается 4 номер "Эхо", завершающий 1 год издания журнала.

В НОМЕРЕ:

Проза из самиздата: Борис Вахтин, М. Козырева, Владимир Алексеев.

Рассказы В. Марамзина.

Большие подборки стихов двух ленинградских поэтов Сергея Стратановского и Александра Миронова.

Два сонета А. Хвостенко.

Переводы Генриха Худякова из Эмили Дикинсон.

Отрывок из книги Александра Глезера, статьи Виктора Тупицына, Петра Вайля и Александра Гениса.

Добавление: Два типа критики.

Журнал редактируют:

Владимир Марамзин

Алексей Хвостенко.

Подписка в редакции на 1979 год: 65 франков (4 номера), включая пересылку простой почтой. Авиапочта — 25 франков дополнительно

Цена журнала в продаже 20 франков.

Адрес редакции: "ЕCHO" с/o V. Maramzine, 302, rue des Pyrenees, 75020 Paris. Tel. 366.80.31

Представитель в Израиле: Ирина Гробман, 28 Ephraim Str. Vak'a, Jerusalem, tel. (02) 712.493.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ МАРКА КЛИОНСКОГО

В день солидарности с борьбой советских евреев за свои права его картины несли по Пятой авеню Нью-Йорка. Наверное, это не менее важно, чем отзывы искусствоведов и критиков. Хотя и этого достаточно. За те пять лет, что Марк Клионский живет в Нью-Йорке, комплиментов ему высказали немало.

Клионский многогранен и широк, и потому занимательны попытки специалистов, пытающихся втиснуть его в рамки течений, терминов, ярлыков. Занятие это и вообще неблагоприятное, а когда сталкиваешься с личностью художника, умеющего в живописи и графике практически все — и вовсе трудное. Сам Клионский предпочитает для изрядной части своих бесконечных экспериментов термин "фантастический реализм". Может быть, и так. Стоит попробовать воспринять это понятие в самом обыденном, не искусствоведческом смысле. И тогда еще страшнее станут офорты Клионского на тему еврейского геноцида — трагедии Катастрофы.

Здесь его предшественник — Шагал. Как у великого художника из Витебска, у Марка Клионского тоже есть и скрипачи, и виолончелисты. Но те, шагаловские, мудры и веселы, ироничны и хитроумны. Шагаловские скрипачи порхают по фиолетовым небесам, посиживают на зеленых крышах, а играют, надо думать, фрейлахс. Скрипачи Клионского — тени шагаловских музыкантов. У них другой репертуар — они идут не на свадьбу, а в крематорий. Но музыка их не умолкает и в двух шагах от смерти. Смычки раздавлены сапогами, а звуки — немислимой чистоты и печали — звучат вечным кадишем над теми, кто самым буквальным образом ушел в небытие, развеявшись по ветру. Это — конечно, фантастический реализм.

Говорят о необычном сочетании реализма и сюрреализма в работах Клионского. И снова — правда. Это более всего относится к его зарубежным экспериментам. Таковы картины "Самовар", "Надежда". Пейзаж этих и многих других работ Марка Клионского построен так, что земное, реальное воспринимается как нездешнее, легендарное, фантастическое. Чаще всего на фоне такого пейзажа — древо познания Добра и Зла. Не в прямом смысле слова — древо как дерево — а символическом, фигуральном. Это может быть и причудливое изваяние, чем-то похожее на кита, в чреве которого виден пророк Иона и женщина в красном, испуганно прижавшаяся к ногам пророка ("Надежда").

Древнее изречение "Мы спасены в надежде" звучит у Марка Клионского как "Мы спасены в молитве" — в этом сокровенный нравственный смысл древа познания Добра и Зла и самого познания.

Глядя на многообразие работ Клионского кажется, что творил все это целый союз свободных художников. Разностилье, разнотемье объединяет высокое мастерство живописца и графика, и главное — личность художника Марка Клионского, неистощимого в исканиях и экспериментах.

П. Двинский



Самовар



Надежда



Исход



ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Сай ФРУМКИН

ПРАВозАЩИТНИК ИЗ МОСКВЫ

На днях я пришел домой и обнаружил, что кто-то из Москвы прислал мне заказное письмо. Оно было написано на том примитивном языке "простого советского человека", который так часто использует советское правительство, инспирируя кампании по написанию писем.

Я всегда подозревал, что моя деятельность по защите прав советских евреев не остается бесследной и что в КГБ имеются мои биографические данные и адрес. Однако в первый раз кто-то "оттуда" пытался написать мне письмо.

Фамилии моего корреспондента я так и не смог разобрать, поэтому когда я решил написать ему ответ, то подумал, что он не станет возражать, если я буду звать его просто по имени.

Но вначале приведу текст его письма.

Уважаемый мистер Semon Frumkin!

От общих знакомых я узнал ваш адрес и также то, что вы являетесь правозащитником. Меня тоже глубоко волнуют вопросы защиты прав человека.

В частности, мне не дает покоя тот факт, что многие нацистские преступники, чьи руки обгажены кровью ни в чем не повинных людей, в том числе лиц еврейской национальности, скрываются от справедливого возмездия в США, ФРГ, Парагвае, Уругвае.

Более того, они часто занимают видные посты в правительствах этих стран и нагло поднимают шумиху вокруг так называемого вопроса о нарушении прав человека в социалистических странах и СССР.

Об одном из таких фашистских палачей, который пришелся ко двору в американском правительстве, я прочел в статье "Правозащитник из гестапо" ("Комсомольская правда" от 24/Х-78.).

Вы, уважаемый мистер, вероятно, не знакомы с содержанием этой статьи. Я позволю себе привести некоторые выдержки из нее. "В Париже открывается XX сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Как сообщают, главой делегации США назначен бывший пособник фашистов Константин Варварив. Год назад ответственный сотрудник госдепартамента США приехал в Тбилиси на Международную конференцию ЮНЕСКО в составе официальной делегации США, где и был опознан. Американские власти были извещены об этом, однако Варварив по сей день занимает свой пост в вашингтонской администрации и представляет США в ЮНЕСКО. Константин Варварив уроженец села Стыдень Волынской области УССР, в 1941–1944 года служил в органах гестапо оккупированного фашистами города Ровно. Варварив присутствовал при допросах и пытках советских людей, по его приказу с 7 до 9 ноября 1941 года было расстреляно свыше 17 тысяч советских людей, в том числе лиц еврейской национальности".

Меня потрясла описанная в статье сцена убийства тысяч евреев "Стреляли в беззащитных, раздетых и положенных лицом на землю людей. Прикладами разбивали головы и трупы бросали в яму. В детей не стреляли, на них не тратили пуль, их бросали в яму прямо живыми". И участником всего этого был Варварив. Много лет прошло с окончания Второй мировой войны, но такие преступления не должны оставаться безнаказанными. Разрешите задать вам вопрос, как оказалось, что военный преступник — член правительства США, кому это нужно, как это соответствует решениям Хельсинкского совещания? Действия правительства США по реабилитации фашистского палача оскорбляют память миллионов жертв нацизма: русских, поляков, евреев. О том, как поступить, пусть подскажет ваша совесть. Я же, со своей стороны, надеюсь, что вы примите все возможные меры давления на ваше правительство с целью достижения справедливости. Если вы являетесь настоящим борцом за права человека, то вы примете все доступные вам меры, вплоть до направления официальных запросов и писем протеста в Госдепартамент и Конгресс США и напишите мне. С уважением Саша Ахт..., Москва.

А теперь приведу текст ответа, который я послал в Москву.

“Мой дорогой Саша! Спасибо за твое письмо. Я счастлив, что у нас есть общие друзья, которые сообщили тебе мой домашний адрес и которым достаточно хорошо известно, что я умею читать по-русски. К сожалению, мне ничего не известно о тебе, и поэтому я не имею представления, знаешь ли ты английский язык. Однако я абсолютно уверен, что наши общие друзья сумеют перевести тебе мое письмо.

Я разделяю твою озабоченность проблемой прав человека и слышал о господине Варвариве. Мне думается, что это тот самый человек, к которому подошли неизвестные люди, когда он выходил из своего номера в гостинице “Тбилиси” и пытались его шантажировать, чтобы с его помощью раздобыть некоторые документы Госдепартамента. Они зывали к его чувству долга, бывшего советского гражданина, а потом угрожали, что предадут его суду, как военного преступника. По-видимому, господин Варварив оказался достаточно осмотрительным, он отказался с ними сотрудничать и, вернувшись в Соединенные Штаты, рассказал всю эту историю своему руководству в Государственном департаменте, потребовав полного расследования выдвинутых против него обвинений. Это расследование было проведено, и господина Варварива полностью реабилитировали — как выяснилось, никаких преступлений во время войны он не совершал.

Я намеренно пишу о том, как было все в действительности, потому что уверен, что ты не сможешь об этом ни слова прочесть в “Комсомольской правде”. Я готов, однако, признать, что существует вероятность, что Варварив виновен. В этом случае я согласен сам провести дальнейшее расследование. И поскольку я верю, что ты действительно озабочен проблемой прав человека, то я готов обратиться, как ты предлагаешь, в Госдепартамент и к моему депутату в Конгрессе и запросить более подробную информацию по этому вопросу. Я убежден, что получу быстрый и исчерпывающий ответ и с готовностью вышлю тебе его копию. Но, дорогой Саша, в свою очередь, я хотел бы и тебя попросить о некотором одолжении.

Тебе должно быть известно, что за последний год группа советских евреев была осуждена и приговорена ко многим годам ссылки и трудовых лагерей. Одна из приговоренных — замечательная женщина, с которой я познакомился в Москве несколько лет тому назад и которая вот уже более шести лет добивается права покинуть Советский Союз. Ее имя — Ида Нудель. Она приговорена к трем годам ссылки на Севере, ее заставляют жить в одном бараке с уголовниками. Она — слабая, больная женщина, которая никому не угрожает и не представляет никакой опасности. Не исключено, что она погибнет прежде, чем будет освобождена из заключения, куда она была отправлена лишь за то, что не желала больше жить в вашей прекрасной стране. А теперь — о чем бы я хотел попросить тебя, соратник по борьбе за права человека. Я прошу тебя написать письмо в защиту Иды Нудель своему правительству и попросить его, чтобы ее выслали из Советского Союза за границу, а не в Сибирь. Мне кажется, это будет прекрасное решение. Твое правительство больше не будет кормить ее, заботиться о ней, отвечать на протесты таких заблуждающихся людей, как я. В конце концов, ведь это единственно, чего хотела Ида Нудель.

Я вышлю копии ответов на мои письма, как только ты вышлешь копию своего письма. Это справедливо, не правда ли? Кстати, раз уж между нами завязалась дружеская переписка, может быть, ты сможешь мне кое-что объяснить. Я, например, не понимаю, почему твое правительство ограничивает поездки советских граждан за границу. Любой американец, француз, итальянец, так же, как житель практически любой страны, может покинуть ее и уехать в любом направлении на неделю, месяц, год или навсегда.

Советское правительство считает, что его народ обязан жить в границах его государства, а тот, кто хочет оставить страну только потому, что он просто этого желает, объявляется предателем, достойным наказания. Я уверен, что у твоего правительства есть какое-то простое объяснение этого обстоятельства, но, убей меня, я никак не могу понять, в чем тут дело.

Может быть, это чересчур резко прозвучит, но твое правительство держит своих граждан в границах своей страны, подобно тому, как держат зверей в гигантском зоопарке. И они могут быть выпущены на свободу только тогда, когда служители зоопарка произнесут "О'кей!" Надеюсь, что у тебя найдется лучшее объяснение этой милой ситуации.

Я согласен с тобой, что преступления против человечества не могут быть ни забыты, ни прощены. Нацистские преступники должны быть найдены и преданы суду. И, как тебе известно, многие из них уже были осуждены и понесли наказание. Но ты знаешь, дорогой Саша, я просто потрясен полной безнаказанностью тех, кто совершил преступления против человечества в эпоху сталинизма, которую вы предпочитаете называть периодом "культа личности".

Ваши руководители признали, что многие миллионы людей погибли с 30 по 53 годы в ГУЛаге, и еще множество погибло от голода во время насильственной коллективизации. Сотни тысяч советских военнопленных были отправлены в лагеря на верную смерть, после того, как они были освобождены из немецкого плена. Крымские татары, немцы Поволжья и другие народы были депортированы в глубинные районы страны. Этот список велик. Лишь немногие выжили и были отпущены на свободу, тогда как абсолютное большинство погибших реабилитировали посмертно.

А сейчас вопрос, дорогой Саша: "Неужели Сталин убивал всех сам? А как же охранники, следователи, судьи, начальники лагерей? Был ли хоть один из них предан суду? Не найдем ли мы среди выполнявших сталинские приказы садистов, убийц и стукачей? Если ты захочешь, дорогой Саша, я с удовольствием пришлю тебе список тех, кто руководил убийствами, морил невинных людей голодом, заживо их замораживал. Ты можешь, конечно, найти имена этих людей в книге Солженицына "Архипелаг ГУЛаг", но как-то я не совсем уверен, что тебе удастся приобрести эту книгу в одном из ближайших книжных магазинов.

Здесь, дорогой Саша, основное различие между тобой и мной. Я живу в стране, где правительство не боится своих

граждан. Я могу купить в расположенной по соседству книжной лавке книги как Солженицына, так и Ленина. Могу открыто критиковать мое правительство или даже говорить, что твое правительство лучше моего. Никто за это не посадит меня за решетку. Мои газеты критикуют все, что плохо делает правительство, а мой народ приостановил несправедливую войну во Вьетнаме и сбросил президента, когда он подорвал наше доверие. Я могу передвигаться из города в город, из квартиры в квартиру, переходить с одной работы на другую. Могу путешествовать, где мне вздумается, и покинуть эту страну, просто купив билет на самолет.

В моей стране было опубликовано немало книг и журнальных статей о тех, кто избежал суда и по тем или иным причинам продолжает жить в Соединенных Штатах. Были ли опубликованы в твоей стране хоть какие-то книги или статьи о беспорядках в Литве, об оккупации Чехословакии и Венгрии, о беспорядках в Советской Грузии, о еврейских демонстрациях во время праздника Симхат Тора в Москве и других городах. Как-нибудь, дорогой Саша, я смогу приехать в Москву и обсудить все это с тобой лично. Но я смогу это сделать лишь в том случае, если наши общие друзья впустят меня и, впустив, дадут выехать обратно. И хотя шансы, что это случится, не столь велики, но они все-таки более вероятны, чем твой приезд в Лос-Анджелес.

К сожалению, для тебя, каким бы ты преданным советским гражданином ни был, не может быть иного контакта с границей, кроме редкого обмена письмами, да и то, когда наши общие друзья снабдят тебя нужным адресом. С уважением Сай Фрумкин.



Уважаемая редакция! Насколько мне известно, ваш журнал поддерживает тесную связь с другими русскоязычными изданиями и, наверное, с нью-йоркской газетой "Новое Русское Слово". Как мне пишут друзья из Америки, эта газета весьма популярна среди новых эмигрантов, но мне бы хотелось сейчас задать вопрос, не связанный ни с ее содержанием, ни с популярностью. Меня, как и, наверное, многих, интересует история ее недавнего поджога. Верно ли, что он был инспирирован КГБ? А если нет, то, кто и как его организовал? Редакция попросила администратора газеты "Новое Русское Слово" Валерия Вайнберга ответить на это письмо одного из наших хайфских читателей.

Валерий **ВАЙНБЕРГ**

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДЖОГА

Вся эта история произошла в мае прошлого года. Давно уже все вошло в норму, уже пришли в редакцию новые работники, которые только понаслышке знают об этом, каждый день прибавляет новых читателей — жизнь идет своим чередом. Но дело в том, что история поджога "Нового Русского Слова" содержит немало поучительного для всех нас и теперь, может быть, не столько в плане чисто событийном, а, скорее, психологическом.

Хотя начать надо, видимо, именно с событий.

14 мая 1978 года в 6.30 утра в квартире главного редактора "Нового Русского Слова" Андрея Седых зазвонил телефон. Одна из наших читательниц — г-жа Бершадская — едва подбирая слова, говорила в трубку о том, что только что слышала новости по радио: взорвана типография газеты. Андрей Седых позвонил мне, и, надо сказать, обычную дорогу из Стейтен Айленда, которая всегда занимала минут пятьдесят, я проделал за полчаса.

На типографию страшно было смотреть: под лучами наших фонарей (электропроводка, разумеется, была повреждена) появлялись обгоревшие остовы линотипов, груды оплавленного, спекшегося типографского набора, свисающий с потолка огромный ящик кондиционера. Взрывом вырвало часть крыши, и уже на следующий день картину разрухи дополнили лужи. Взрывная волна была так сильна, что пострадал и наш сосед — китайский ресторан. Даже не верилось, что так может быть: фасад ресторана находится метрах в двадцати от места взрыва, за многочисленными стенками. Но волна шла какими-то загадочными, причудливыми путями, и в результате передняя стена несчастного китайца отогнулась в сторону улицы, как лист бумаги.

Наша редакция расположена в узком высоком здании, и потому пострадал лишь первый этаж — помещения конторы и самой редакции, архив остались целы. Только пришлось туда подниматься пешком: массивная, многопудовая дверь лифта висела в провале шахты на каком-то, с виду несолидном трюнике.

После объяснений с полицией пришлось объясняться с корреспондентами. Главный редактор Андрей Седых и я выступали по телевидению. А. Седых заявил: "Газета не прекратит выпуска ни на один день". Так оно и было — наша газета не выходит по понедельникам, а уже во вторник у читателей в руках был номер с подробным рассказом о случившемся.

Конечно же, у нас возник вопрос — кто? Полиция по секрету сообщила, что в доме напротив есть люди, которые видели преступника. У нас тоже были свои соображения. Все это следовало скрывать до поры до времени. А уже 18 мая появился свидетель, так и оставшийся в газетных сообщениях закодированным буквой X. В тот же день арестовали Александра Макаровского.

* * *

Должен сказать, что этот парень понравился всем, ну, или почти всем в нашей редакции. Ему было лет двадцать пять,

среднего роста, стройный, светловолосый, с волнистой светлой бородкой — Александр Макаровский напоминал этакого викинга, скандинавский тип. Был он спокоен, старателен, исполнительен. Вообще — способный парень, даже сейчас, после всего, грех отрицать это. Никогда не работав прежде в типографии, он быстро вошел в курс своих обязанностей помощника метранпажа и даже в невероятно короткий срок научился набирать на линотипе — а это совсем непросто.

Проработал год, а потом начались странные вещи. Вдруг выяснилось, что он, имея ключи, пробирается ночью в типографию, что-то набирает там, делает верстку. Потом узнали, что он украл таблички с адресами подписчиков. Такие вещи, разумеется, недопустимы без ведома главного редактора, администратора газеты. Поговорили с Макаровским — он обиделся, сказал, что увольняется.

Способности Макаровского проявились и в том, как он устроил взрыв, не имея никаких взрывчатых средств. Народная смекалка! Он облил всю типографскую технику керосином и быстро воспламеняющейся жидкостью для мытья сверстанных газетных полос. Распахнул настежь двери — для сквозняка. Потом отвернул все краны у линотипов. (Линотипы были газовые, их горелки давали пламя, способное нагреть металл до 580 градусов Цельсия.) И дело было сделано — почти сделано. Потому что Макаровский не успел сделать одного: выскочить из типографии.

С сильнейшими ожогами рук и лица он добрался до дома одного из своих приятелей, а потом попал в больницу, где его и арестовали.

За то время, которое прошло со времени взрыва, а особенно в первые месяцы, высказаны были тысячи догадок — кто такой Макаровский на самом деле, зачем ему понадобилось поджигать "Новое Русское Слово", без особых шансов на безнаказанность? Ведь и в самом деле, не мог же он не понимать, что именно на него, человека, уволившегося недавно, причем не по-хорошему, падут подозрения? Многое неясно в деле Макаровского, многое неясно в его биографии.

Он, недавний эмигрант, успел попутешествовать за свой счет, смотался в Калифорнию, в его квартире обнаружили банковскую книжку на десять тысяч долларов. Откуда все эти средства?

Но вряд ли стоит сейчас заниматься гаданием на кофейной гуще. Видимо, мы никогда не узнаем всей правды. Может быть, этого мог добиться американский суд. Может быть, но — не захотел. Но о суде — позже.

Вряд ли стоит гадать. Меня во всем этом деле с Макаровским занимает вопрос его беспомощного противопоставления себя обществу. Да, да, именно обществу.

И в связи с этим я всегда вспоминаю, какой же журнал пытался издавать Макаровский, пробираясь тайком в нашу типографию. Один номер его успел выйти. Журнал называется "XX век". Я за годы эмиграции видел множество русских зарубежных журналов и должен сказать, что "XX век" — один из самых лучших. Но... по оформлению. Красиво оформленные заголовки, стройная композиция страниц, отличные фотографии. И все это — при абсолютно нулевом содержании. То есть опять-таки за годы эмиграции я не видел более пусто-го и бессмысленного журнала.

Вот таков, как я понимаю теперь, и был Александр Макаровский. Белокурый "скандинав", на которого оглядывались девочки, способный и сообразительный парень — с абсолютно аморальным нутром, с "ничем" в душе.

Сейчас нечего взывать к совести Макаровского — он сидит в тюрьме и не услышит (да и не услышал бы в любом случае). Но каково было нам, когда мы принимали решение уволить работников типографии, которые были связаны с "Новым Русским Словом" по пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет. Я помню, как мы сидели — Андрей Седых, заместитель главного редактора Роман Субботин, я — и обсуждали все возможности и как нам пришлось пойти на этот шаг: перейдя на совершенно новую технику, уволить старых сотрудников. Я вообще не склонен к сентиментальности, но тогда не спал две ночи. Ведь с некоторыми из них я проработал рядом четырнадцать лет...

Макаровский, я думаю, не понимал, что обречен. Он был обречен уже, когда задумал свое преступление, а приговор был вынесен, когда Андрей Седых сказал по телевидению: "Газета не прекратит выпуска ни на один день". Знаете, как в русских деревнях ловили конокрада или убийцу "всем миром". В этом случае у него не было надежды уйти: он ставил себя вне общества.

Мы часто читаем, говорим сами о том, что русская эмиграция разрознена, что в ней масса течений противоречивых, часто враждебных. Все это так. Но нас все-таки мало, и потому, наверное, чувствуя это, мы сплываемся в несчастьях. Потому и было неизбежным крушение Макаровского и всех прошлых и будущих макаровских — он разбился о стену.

* * *

Наверное, никогда "Новое Русское Слово" не было так популярно, как в те самые тяжелые для газеты дни. Телефон не умолкал ни на секунду. Письма шли таким потоком, что почтальон даже перестал улыбаться по утрам. Писали все — и те, кто, порой, нападал на нас, критиковал, обвинял во всех смертных грехах. В то время это забылось: взрыв был не покушением на существование "Нового Русского Слова", это было своего рода покушение на эмиграцию.

Тогда мы со всей ясностью осознали, что значит наша газета для русских за рубежом. Конечно, всяк свое хвалит, и в глубине души все мы считаем, что "Новое Русское Слово" — лучшая газета вообще. Но в эти дни пришло некое объективное знание. И действительно, что читает средний американец? А что хочет: "Нью-Йорк Таймс", "Дейли Ньюз", "Нью-Йорк Пост", а сколько тех, что размером и тиражом поменьше — не счесть. Журналов — тысячи. Для нас, русских эмигрантов, своя газета важнее и дороже, чем для любого американца его любимое издание. Для нас это все — связь с родиной, с родным языком, источник информации, собеседник... Ведь кругом-то — за граница, а язык и культура — русские.

А нас, читателей (я ведь тоже, в конце концов, читатель), становится все больше. Только в 1979 году в Соединенные Штаты должны приехать около 25 тысяч эмигрантов из Советского Союза. А в будущем году надо рассчитывать на все 35—40 тысяч.

Так вот, уже 14 мая, в день взрыва, в редакции собрались практически все работники газеты, хоть и было воскресенье: кто услышал по радио, кто увидел по телевидению, кому позвонил коллега или знакомый. И сразу же началась работа, о которой и сейчас вспоминать страшно.

Бросились искать типографию. Нашли — грех жаловаться, она нас выручила поначалу, но там, по-моему, большевики "Искру" вряд ли смогли бы выпустить. Теснота, допотопное оборудование. А тут еще началась жуткая нью-йоркская жара — влажная, липкая, расслабляющая. А в типографии — конечно, никакого кондиционера. И работа — в идеальном случае двенадцать часов подряд, а обычно — все четырнадцать. Часть материала отдавали в набор даже в соседний штат, гоняя с ним и за ним на машине. Потом нашли место получше, покомфортабельней, немного вздохнули и стали думать о своей — новой — типографии. Надо переходить на новые машины, а все это бешеных денег стоит. И тут мы еще раз поняли, что значит поддержка читателей: слали, кто сколько мог. Были пожертвования и по нескольку сотен долларов, были и по пять, три, одному. По сей день на нашем большом наборном компьютерном графике стоит табличка: "Дар друзей-читателей "Нового Русского Слова"."

Нам пророчили: переход на новую технику — процесс сложный, долгий, много месяцев потребуются. Все это так, — действительно, сложный, но уже через две недели после установки новых машин мы выпускали газету целиком своими силами.

Конечно, Макаровский рассчитал правильно: самое важное и уязвимое в газете — типография. Но кое-что из области психологии не учел, да и не мог: не то, по-видимому, мышление.

Кстати, вот что, я думаю, навело его на мысль о типографии.

В первый день Нового, 1977 года, нашу газету подожгли в первый раз. Кто это сделал — так и не известно до сих пор. Мне позвонили из полиции в час ночи с 1 на 2 января. Я примчался: сгорел кабинет главного редактора, украдены бумаги, чеки (которые нельзя использовать), обгорели стены, выбиты окна. Полицейские задали пару вопросов, потом сказали: "Предоставляем вам действовать" — и ушли греться.

А ведь это зима, январь. В зияющие окна свистит ветер, несет снег. Я ходил с фонарем, наводил какой-то порядок, смотрел, что пропало, и каждые двадцать минут выбегал в машину согреться. Потом вызвал специальную службу, те заколотили окна, а я все не мог выписать им чек, чтобы расплатиться: пальцы не держали ручку.

Тогда тоже пришлось несладко, хотя и не так, конечно, как на следующий год, 14 мая.

Так вот, в те дни все мы говорили: "Слава Богу, типография цела, а уж с этим как-нибудь справимся". И, надо полагать, "сглазили". Макаровский — парень сметливый — это запомнил и после учел.

* * *

Платный агент КГБ Макаровский или не платный агент? Психически нездоровый или вполне нормальный? Все эти вопросы сейчас достаточно праздны. Интересно и важно другое: что Макаровский — не как человек, а как разрушительная идея — потерпел полное поражение. А могло бы выясниться гораздо больше, если б не тот суд, который состоялся.

Американское правосудие вообще вызывает массу нареканий. Не устают изоощряться на эту тему карикатуристы, юмористы, сатирики. Похоже, американские судьи больше всего обеспокоены тем, чтобы не травмировать преступника бестактными вопросами и слишком кропотливым расследованием. Таков же был судебный спектакль по делу Макаровского. Он настолько запутался в собственных показаниях,

настолько заврался, что было даже нам неудобно. То он обжегся у плиты, то все-таки в типографии, то он там вовсе и не был, то был, но не поджигал. Вопросы присяжных были неподражаемы. Уже когда все выяснилось: поджег Макаровский, уже и он, видимо, утомившись, признался, присяжные все интересовались: где стояла урна? Дескать, кто-нибудь мог бросить окурок в мусорное ведро.

Зато никто из присяжных или членов суда не поинтересовался, откуда у Макаровского десять тысяч долларов. А ведь занятно...

Да и вообще странно: в 1976 году приехал парень из Москвы в Израиль, потом, почему-то, перебрался в Румынию (?), оттуда в Вену, там получил американскую визу, попал в Штаты, был в Калифорнии, в Неваде — все это отдает каким-то "щучьим велением". Но все это несущественно, вот где мусорное ведро стояло — дело другое.

В результате Макаровского осудили на недоступный для нормального разума срок — от 0 до 3 лет, но не менее одного года, не считая предварительного заключения. Если не менее года, то почему от "нуля"?.. Сейчас он сидит на острове Райкерс Айленд, совсем неподалеку от нас. И, надо полагать, пользуясь благами американской тюрьмы, выписывает "Новое Русское Слово"...

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Ум-эль-БАНИН. См журнал № 40.

Аркадий ЛЬВОВ. См. журнал № 38.

Дмитрий БОБЫШЕВ. Родился в 1936 году в Мариуполе. С раннего детства живет в Ленинграде. Окончил Технологический институт, работал инженером, редактором на телевидении. Один из самых значительных поэтов своего поколения. В России печатался очень мало — несколько стихотворений в "Юности", "Молодом Ленинграде", ленинградском "Дне поэзии" в 60-е годы, на Западе — цикл "Траурные октавы" в сборнике "Памяти Ахматовой" (ИМКА, 1975). Его стихи широко распространены в самиздате.

Анри ВОЛОХОНСКИЙ. См. журнал № 36.

Михаил АКСЕНОВ МЕЕРСОН. Священник Православной Церкви в Америке. Родился в Москве в 1944 году. Окончил Исторический факультет МГУ, работал в Институте Истории АН СССР. Принимал активное участие в самиздате. Эмигрировал в 1972 году и изучал богословие в Париже, Нью-Йорке и Иерусалиме. Автор книг и статей, опубликованных на русском и европейских языках. В настоящее время является помощником настоятеля храма Христа Спасителя в Нью-Йорке.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. См. журнал № 40.

МАРРАН. Биографические данные неизвестны. Рукопись пришла из самиздата.

Наталия АГРОСКИН. См. журнал № 36.

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ. Один из ведущих скульпторов современности. Родился и получил художественное образование в Москве. Участвовал во Второй мировой войне. Победитель многих международных конкурсов. С именем Эрнста Неизвестного связано развитие нонконформистского направления в советской скульптуре. Начиная с 1962 года, Эрнст Неизвестный подвергался непристанным идеологическим преследованиям, которые вынудили его эмигрировать из Советского Союза. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

Сай ФРУМКИН. Бизнесмен и публицист. Родился в Литве. Во время войны попал в гетто, а после войны — эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. В настоящее время живет в Калифорнии. Известен как борец за права человека. Систематически выступает на страницах американской печати.

Валерий ВАЙНБЕРГ. Администратор газеты "Новое Русское Слово". Родился в 1945 году в СССР. В 1958 году уехал с семьей в Польшу. В 1964 году эмигрировал в США и в том же году начал работать в "Новом Русском Слове" метранпажем. Закончил Институт коммерческой рекламы в Нью-Йорке. С 1974 года — финансовый директор и администратор газеты.

КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА БАНКА ДИСКОНТ



”Кредитка DINERS CLUB”

Кредитка во всем мире

С “кредиткой” весь мир в твоём кармане. В сотнях тысяч фирм 150 государств тебе не нужны ни наличные деньги, ни травелерс чеки. Ты можешь путешествовать по всему миру, как свой человек. Как один из миллионов обладателей “Кредитки Diners Club” во всем мире ты покупаешь пальто в Лондоне и нанимаешь машину в Нью-Йорке, обедаешь в парижском ресторане, ночуешь в туристской

гостинице или приобретаешь билет для перелета в Цюрих. И все это без наличных денег, а с помощью кредитки банка Дисконт. Тебе не нужно платить наличными. Ты подписываешь счет и спустя месяц оплачиваешь свой расход через банк в Израиле.

Банк Дисконт — первый израильский банк — предложивший гражданам страны международную кредитную карточку.

Кредитка в Израиле

При помощи “кредитки Diners Club” ты можешь покупать в кредит в 1200 магазинах и получать деньги во всех филиалах банка Дисконт. Твои чеки будут приниматься на всех заправочных станциях. Бланки для

приобретения “кредитки” можно получить в любом филиале банка Дисконт и банка Дисконт Берклис.

Хорошо работать с банком Дисконт!

טוב לעבוד עם

בנק דיסקונט

הצד האנושי של המטבע

”ВРЕМЯ И МЫ” — 1979 ГОД

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала “Время и мы” — можно по русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel Aviv ИЛИ 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой

сроком на 6 месяцев

Обыкновенной почтой

на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

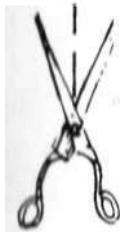
Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала “Время и мы” - можно по русски — и высылается по адресу: **P.O.8. 24123,**

Tel-Aviv, Israel или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv



Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/Э
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки: Марк Клионский "Три поколения"

